



# **Дружба народов**

**11/2025**

*Дружба на возраст*



## **В номере:**

### **«Дружба на вырост»**

В ноябре 2015 года впервые вышел номер «ДН», посвященный проблемам детства, семьи, школы и литературе для детей и о детях. С тех пор вышло 10 специальных номеров, в журнале появилась постоянная рубрика. И мы упорно настаиваем: в условиях продвижения визуальной культуры, взлетевшего престижа информационных технологий, расширяющейся сферы использования искусственного интеллекта, когда всё меньше детей и подростков любят и хотят читать, с трудом понимают и усваивают объёмный текст, читателя нужно растить.

### **«Только детские книги читать...»**

«"Хоттабыч" — это "Мастер и Маргарита" наизнанку»... «Ребёнок — самый зависимый читатель»... «Сын пришёл в восторг от хитроумного Гудвина, и его захватила мысль, что все те качества, которые люди жаждут получить: ум, добросердечность, храбрость и мужество, — уже имеются у них в "заводских настройках"»... В 2025-м мы остановились на пороге полутора сотен историй наших авторов о книгах детства и жизни.

### **Молодой Исус**

«...После рекламы на местном канале <...> к Суслику пристала кличка Исус. С одним "и" просто потому, что никто не знал, как надо правильно». Герои повести Артёма РЯЩЕВА «Шерсть» испытывают такое напряжение в отношениях, что реальность трещит по швам. Изнасилованная мама Таня решила, что она непорочна, зачав сына не по своей воле. Так она попала в секту «Истинной церкви Иисуса Назарея». Там её провозгласили «девой Марией, а её малолетнего сына — Иисусом». Но сын вырастет и больше не хочет быть Иисусом, а выйти из секты невозможно. Эти психические сдвиги оборачиваются тем, что мальчик Исус зарастает шерстью и превращается в волка (так ему кажется).

### **«...в жизни было иначе»**

В подборке Ганны ШЕВЧЕНКО с прозаическим названием «Шесть ноль восемь» — пульс тревожных будней, когда планета несётся «на непривычную орбиту» и, чтобы верить в лучшее, необходимо разыскать «ту самую хорошую себя, / которую случайно потеряла».

«Детский сад» в стихах Ивана МАКАРОВА — развёрнутая метафора бытия.

Пока живы, мы ходим туда «строим, парами, кругами», потому что детский сад — «большой, как белый свет».

Подборка Андрея ФАМИЦКОГО «Вопрос ребром» — размышления на вечную тему жизни и смерти: «я грек я римлянин я кто-то/ кто не умеет умирать».

### **Урок стойкости**

В разделе критики философ и культуролог Александр МАРКОВ анализирует три книги-лаборатории: «Крымков даёт ключ к жесту и этике, Чупринин — к социологии и экономике, Бунимович — к повседневности и памяти».

Тема книг, выбранных для своей «Библионавтики» Ольгой БАЛЛА, — «маленький растущий человек перед лицом неотвратимого и превосходящего наше разумение и силы».

# Дружба народов



**Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал**

**Основан  
в марте 1939 года**

## Редакционная коллегия

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,  
Сайт журнала:  
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2025.  
Подписано в печать 23.10.2025.  
Выход в свет 26.11.2025.  
Формат бумаги 70 x 108 1/16  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей  
НАДЕЕВ  
Леонид  
БАХНОВ  
Ирина  
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена  
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА  
Владимир  
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр  
СНЕГИРЕВ

## Редакционный совет

Мария  
АНУФРИЕВА

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Денис  
ГУЦКО

Вадим  
МЕСЯЦ

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Валерия  
ПУСТОВАЯ

Ренат  
ХАРИС

Александр  
ЧАНЦЕВ



«Только детские книги читать...» В заочном «круглом столе» принимают участие:  
 Сухбат АФЛАТУНИ, Эдуард ВЕРКИН, Варвара ЗАБОРЦЕВА,  
 Дмитрий ИСАКЖАНОВ, Александр КИРОВ, Алексей КОЛЕСНИКОВ,  
 Борис КУТЕНКОВ, Станислав МИНАКОВ, Хелена ПОБЯРЖИНА,  
 Олег СИДОРОВ, Амарсана УЛЗЫТУЕВ, Ислам ХАНИПАЕВ ..... 3

#### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ганна ШЕВЧЕНКО. Шесть ноль восемь. Стихи .....                          | 25  |
| Артём РЯЩЕВ. Шерсть. Повесть .....                                      | 28  |
| Елизавета МАКАРЕВИЧ. Собачьи дни. Повесть .....                         | 67  |
| Александр ПОПОВСКИЙ. Хорошо, что в жизни это было. Стихи .....          | 97  |
| Анатолий БАТОМУНКУЕВ. О чём молчит печальный цвет сараны. Рассказ ..... | 100 |
| Виктория СОРОКИНА. Случилась жизнь. Два рассказа .....                  | 114 |
| Иван МАКАРОВ. Детский сад. Стихи .....                                  | 120 |
| Елена ЕРМОЛОВИЧ. «Хуже Гитлера». Рассказы .....                         | 123 |
| Ирина ЖУКОВА. Слепота. Рассказ .....                                    | 135 |
| Андрей ФАМИЦКИЙ. Вопрос ребром. Стихи .....                             | 143 |
| Светлана ТРЕМАСОВА. Колыбельная. Рассказ .....                          | 146 |
| Лидия ФИТИСОВА. Бабушкин чемодан. Два рассказа .....                    | 157 |
| Евгений СЛИВКИН. Пускай грядут большие перемены. Стихи .....            | 167 |
| Инна КАБЫШ. Мой первый мужчина. Повесть .....                           | 170 |
| Александра МЕДВЕДКИНА. Там, где цветёт картошка. Рассказ .....          | 177 |
| Дарья ЗЕМЦОВСКАЯ. Энжел. Рассказ .....                                  | 186 |
| Андрей НЕБРОЦКИЙ. Необычайно белый день. Стихи .....                    | 194 |

#### МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Андрей МОНАСТЫРНЫЙ. Звездопад. Рассказ .....               | 197 |
| Николай АЛЕКСАНДРОВ. Щенок. Рассказ .....                  | 200 |
| Нелли ЗАЙЦЕВА. Рассказы .....                              | 205 |
| Ольга РЫБАКОВА. Кошачья сотня. Рассказ .....               | 210 |
| Елена УСАЧЁВА. Младшая. Рассказ .....                      | 214 |
| Александр ШЕВЧЕНКО. Неожиданно долгожданный. Рассказ ..... | 219 |
| Клара ШОХ. Нетленное. Рассказ .....                        | 222 |
| Мурат КАЗАКОВ. Дверь. Рассказ .....                        | 227 |

#### ПРОЗА. ДОС

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Мария ГАБРИЛОВИЧ. Как мы жили — не тужили. Нехитрые рассказы ..... | 232 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

#### КРИТИКА

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Александр МАРКОВ. Между свечой и кинжалом: жесты, институции, метафоры ..... | 248 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### БИБЛИОНАВТИКА

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Ольга БАЛЛА. Постоянные упражнения в бессмертии ..... | 259 |
|-------------------------------------------------------|-----|

#### ПРАВИЛА ИГРЫ

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Борис МИНАЕВ. Приречная страна ..... | 268 |
|--------------------------------------|-----|

---

## «Только детские книги читать...»

*В заочном «круглом столе» принимают участие  
Сухбат Афлатуни, Эдуард Веркин, Варвара Заборцева,  
Дмитрий Исакжанов, Александр Киров, Алексей Колесников,  
Борис Кутенков, Станислав Минаков, Хелена Побяржина,  
Олег Сидоров, Амарсана Улзытуев, Ислам Ханипаев*

*В 2015 году мы впервые предложили авторам — прозаикам, поэтам, драматургам, литературным критикам, переводчикам разных поколений, живущим в России, соседних и далёких государствах, рассказать о КНИГЕ своего детства и о том, что читают (и любят ли читать) их дети и внуки.*

*В 2025 году свои ответы прислали писатели из Браслава (Беларусь) и Ташкента (Узбекистан), Каргополя и Улан-Удэ, Махачкалы и Белгорода, Якутска и Москвы, Архангельска, Подольска, Иваново, — и мы остановились на пороге полутора сотен историй о книгах и жизни.*

*Сухбат Афлатуни, прозаик, поэт (Ташкент, Узбекистан)*

### По бесконечной дороге из жёлтого кирпича

В 1941 году в объединённом, первом-втором, выпуске «Книжной летописи» под номером 386 значилось: «Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Рис. Н.Радлова. — (Школ. б.-ка. [Для начальной школы]) Детиздат. М.-Л. 1941. 152 с. с илл. 20 с. 177.000 экз. 3 р.».

И чуть ниже: «Переработка сказки амер. писателя Ф.Баума “Мудрец из страны Оз”»<sup>1</sup>.

Попробую расшифровать.

Итак, в начале 1941 года вышла — уже третьим изданием — книга ещё недавно мало кому известного учителя математики Александра Волкова. Солидным для того времени тиражом и по вполне доступной для того времени цене (три рубля — стоимость двух буханок хлеба). Иллюстрации для книги создал известный график

---

<sup>1</sup> Есть и другой вариант перевода названия этой книги, «The wonderful wizard of Oz»: «Удивительный волшебник из страны Оз».

Николай Радлов — сын философа Эрнста Радлова, брат режиссёра Сергея Радлова, племянник Михаила Врубеля.

При этом книга значилась как «переработка».

«Интересно было бы увидеть сказку Баума не в переработке, а в переводе», строго писал первый рецензент «Волшебника» в журнале «Детская литература». (Им был только начинавший, двадцатилетний Юрий Нагибин.)

Конец 1930-х — вообще какое-то удивительно «переработочное» время в русской детской литературе.

В 1936-м выходит «Золотой ключик» Толстого (переработка «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди), в 1938-м — «Старик Хоттабыч» (на основе сюжета романа «Медный кувшин» Томаса Энсти Гатри). И вот, буквально на следующий год — «Волшебник»: пожалуй, наиболее из всех трех книг близкий к иностранному оригиналу.

Детская (и не только) литература была в сильнейшем кризисе. Ее мяли и тискали. От нее требовали идейности и воспевания побед социализма. Прежняя детская литература, веселая и живая, но недостаточно идейная, была разгромлена; редакции двух главных детских журналов, «Чиж» и «Ёж», выкошены репрессиями.

И спасла зарубежная детская классика.

Её переработка (в предполагаемо «советском» духе) давала возможность обойти жесткие идейные рамки. И написать книги, которые — в отличие от многого, выходившего тогда, — будут читаться с интересом и через много десятилетий. И «Золотой ключик», и «Хоттабыч», и «Волшебник».

Я, кстати, в этом порядке их и читал.

Вначале, лет в пять, мне прочли «Золотой ключик». Потом, лет в шесть, «Хоттабыча»... «Хоттабыч» — это вообще такой «Мастер и Маргарита» наизнанку (роман Булгакова, кстати, писался в одни с ним годы). Только Воланд, попав в советскую действительность, «творит добро, всему желая зла», то Хоттабыч, наоборот, желает добра, но творит всякие вредные или бесполезные глупости...

Что же касается «Волшебника Изумрудного города» и остальных книг этого цикла, то прочел их уже в школе, лет в девять-десять, сам, залпом.

Вообще, очень важно, *кто* занимался «переработками». Алексей Толстой был прозаиком намного сильнее Коллоди. Лазарь Лагин был беллетристом не слишком ярким, но как сатирик точно не уступал Томасу Энсти Гатри.

Наконец, Волков...

Биография автора «Волшебника Изумрудного города» вообще удивительно перекликается с биографией автора «Мудреца из страны Оз». Баум написал своего «Мудреца» уже немолодым, сорокачетырёхлетним; до этого занимался писательством эпизодически. Волков принимается за «Волшебника» в том же возрасте, сорокачетырёхлетним. И тоже — будучи до этого только литератором-любителем.

Далее. Баум первоначально рассказывал своего «Мудреца» как сказку для трёх своих маленьких сыновей. Волков — перед тем, как приступить к переработке «Мудреца», читает его двум своим сыновьям: «Я прочитал сказку своим ребятам Виве и Адику, и она им тоже страшно понравилась». К обоим писателям после выхода сказки («оригинальной» у Баума и «переработанной» у Волкова) приходит слава; оба начинают создавать её продолжение.

Продолжение «Волшебника» Волков писал уже сам, ничего не перерабатывая. Только заимствовал у Баума для «Урфина Джюса и его деревянных солдат» идею живительного порошка. И эта, вторая, книга получилась не хуже «Волшебника».

Да и третья, «Семь подземных королей»... Помню, как охотился за этими книжками в школе, выклянчивая у одноклассников. Даже решил переписывать для себя, делая попутно «иллюстрации». Не сильно, правда, в этом преуспел.

Следующие две книги, «Огненного бога Марранов» и «Жёлтый туман», читал тоже с интересом, но уже не так, не залпом, не взахлеб. А «Тайну заброшенного замка» вообще не читал. Вышла она в 1982-м; мне уже было одиннадцать, и я перебирался с детской литературы на юношескую — Дюма, Стивенсона, Рида — и на русскую классику...

И ещё одно важное совпадение у Волкова и Баума: оба рано научились читать и были в детстве запойными читателями. Баум глотал Теккерея, Диккенса и Рида (не Майн Рида, а ныне почти забытого Чарльза).

А Волков полюбил именно Майн Рида — и Гоголя.

«В пять лет я уже читал толстенькие томики Майн Рида в приложении к журналу “Вокруг света”, который мы получили в 1896 году... Уютно устроившись на печке, я катил по американской прерии тачку вместе с Патрикой и Шур-Шотом (“Пропавшая сестра” Майн Рида), странствовал на плоту по бескрайнему океану (“Приключения юнги Вильяма”), разгадывал зловещую тайну “Всадника без головы”... С каким весельем, а по временам с сердечным трепетом читал и перечитывал я гоголевские “Вечера на хуторе близ Диканьки”!»<sup>1</sup>

Вот и я помню, как, уютно устроившись — нет, не на печке, а на железной кровати на балконе, читал залпом Волкова. Мне лет девять. Обычная ташкентская жара, к вечеру делается прохладнее. Добыв из открытого баллона маринованную свеклу и положив ее на хлеб, чтобы «вкуснее читалось», лежу с книгой до самых сумерек. Представляю себя идущим по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом. (Я и в реальности ходил тогда по ней в школу — жёлтым кирпичом была вымощена часть тротуара, теперь уже давно исчезнувшая под асфальтом.)

Читают ли нынешние дети и подростки так? Читают ли они так Волкова? Не знаю. Ни у своих детей, ни у детей друзей и знакомых не наблюдал. Возможно, такие дети где-то ещё водятся. Волков продолжает издаваться; значит, покупают и читают. Сейчас вот новая экранизация вышла (пока не смотрел); после экранизаций обычно возникает новая волна читательского интереса...

Но это, по большому счету, уже не так важно.

«Волшебник» уже вошел и в историю русской детской литературы, и в личную читательскую историю многих и многих. Начиная с самых первых его фанатов. Внучка писателя Калерия Волкова вспоминает, как после войны на адрес Волкова «вдруг посыпались письма от детей. Одни писали, что взяли свою любимую книжку в эвакуацию, когда в спешке собирали самые необходимые вещи, другие — что это единственный томик, в который ребенок вцепился, <не отдавая,> когда нечем было топить зимой...»

С некоторыми детьми Волков даже созванивался и обсуждал продолжение своей книги. «Один такой мальчик, — пишет Волкова, — Боря, прикованный к инвалидной коляске, до сих пор общается со мной по телефону. Хотя он давно переехал в Америку, ему сейчас лет 50 и мы никогда не виделись»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Цит. по: Галкина Т.В. Незнакомый Александр Волков в воспоминаниях, письмах и документах. — Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2006. С. 20.

<sup>2</sup> Калерия Волкова: Покидая Изумрудный город // Сайт «7дней.ru». 22 апреля 2011 г. (URL: <https://7days.ru/caravan/2011/4/kaleriya-volkova-pokidaya-izumrudnyy-gorod.htm>)

Почти то же, кстати, было и с книгой Баума.

«На Баума обрушился шквал детских писем... Писали и взрослые: врачи, например, благодарили сказочника за помощь, которую он — сам о том не подозревая — оказал им во время эпидемии детского паралича. “Вы делаете больше, чем мы, — писали хирурги нью-йоркского госпиталя. — Дети, прикованные к койкам болезнью, то и дело просят: “Пусть лучше нянечка почитает нам «Мудреца из страны Оз»”<sup>1</sup>.

«Волшебник изумрудного города», он же «Мудрец из страны Оз», остается с нами. Дорога из жёлтого кирпича всё не заканчивается; сказка продолжается, и чудеса никак не могут завершиться.

*Эдуард Веркин, прозаик (г. Иваново)*

## «И вот в один из дождливых выходных...»

Любимых книг слишком много, выбрать одну затруднительно, но попробую. В лидерах «Незнайка на Луне» Николая Носова и «Таинственный остров» Жюль Верна. Эти книги перечитывал много раз, но, пожалуй, «Таинственный остров» больше, пусть любимой книгой побудет он. В одиннадцать лет «Остров» стал открытием, идеальной книгой.

«Таинственный остров» попал в мои руки в четвертом классе, в сентябре, в самом начале учебного года. Насколько помню, поначалу особого энтузиазма книга не вызвала. В издании, в отличие от других прочитанных книг Жюль Верна, отсутствовали даже самые простенькие иллюстрации. Случайное перелистывание также не вызвало интереса, я наткнулся на обстоятельные описания природы и скучноватые лекции некоего Сайреса Смита. Смушал и объем: книга и толщиной, и цветом напоминала кирпич. Книгу подарила мама, тогда еще поощрявшая мой интерес к чтению. И вот в один из дождливых выходных я, терзаемый книжным голодом, обратился к «Острову». Что же, «Таинственный остров» стал одним из первых читательских уроков — я понял, что судить книгу по обложке и отрывкам не стоит.

В романе было все необходимое для читательского восторга в одиннадцать лет. Побег из плена на воздушном шаре. Добывание огня. Торпедирование пиратского брига, конструирование телеграфа из подручных средств, приготовление пороха. Таинственный дюгонь, заставивший заглянуть в школьную библиотеку и прочитать соответствующую статью в БСЭ. Извержение вулкана. Таинственный незнакомец, приходивший на помощь в последнюю минуту. К тому же «Остров», как выяснилось, был представителем довольно редкого, практически уникального по тем временам вида литературы — кроссовером. Совершенно неожиданно в финале всплывает на «Наутилусе» капитан Немо собственной персоной, а после него на белоснежном «Дункане» весь в белом прибывает лорд Гленарван. С такой писательской дерзостью

---

<sup>1</sup> Петровский М.С. Книги моего детства. — М.: Книга, 1986. С. 229.

я, как читатель, не сталкивался, и она произвела впечатление. Перевернув последнюю страницу, я вернулся к началу.

Очень скоро мама пожалела, что прививала любовь к книгам столь неосмотрительно — ей не посчастливилось узнать, что такое запойный читатель. Я читал «Таинственный остров» всё свободное время. За обедом и ужином, перед сном, немного вместо сна, иногда вместо учебы. Благодаря именно этому роману Верна я превратился из отличника в хорошиста, и родителям стало ясно, что чтение меня интересует гораздо больше учебы. Это был тревожный звоночек. «Таинственный остров» попытались у меня отобрать, безрезультатно.

«Остров» стал книгой, открывшей для меня силу литературы — способность уводить в вымышленные миры, качество, к слову, не такое уж и безобидное. Родители чувствовали исходящую от книги угрозу, само чтение перестало быть однозначным благом, и они отнеслись к моему увлечению настороженно.

С тех пор я каждый год перечитывал «Таинственный остров» по несколько раз, лет до шестнадцати.

К сожалению, мои дети не являются последовательными читателями. Они знакомы с литературой в рамках школьной программы и того, что рекомендовал прочитать я, так что назвать любимые их книги нельзя. Надеюсь, что со временем они по-настоящему заинтересуются литературой.

*Варвара Заборцева, прозаик, поэт (г. Архангельск)*

## **«Можно подзабыть, чтобы чуток подрасти и снова встретиться»**

И хотя моим первым букварем была вовсе не книга, а баян дедушки, складывать слова я училась с мамой и стихами Агнии Барто. Уже в два с половиной года стояла на табуретке: застолье во всю комнату, и все слушают про любителя-рыболова, мишку с оторванной лапой, зайку под дождем и школьников, что превратились в стадо. Последнее стихотворение вовсе не коротенькое, но справляюсь почти без подсказок — только пастуха чуть петухом не назвала. Сейчас решила прочесть «Игру в стадо» самой себе вслух, и она отзывается — интересное дело! Сегодня, вот прямо сейчас, я слышу в голосе Анны Николаевны что-то, что не просто сродни ностальгии, это разговор сегодняшний, о том, чем живет теперь. Наверное, в этом радость встречать слова, что нечаянно глубоко отзываются: их можно подзабыть, чтобы чуток подрасти и снова встретиться. Надо бы заново открыть и «Денискины рассказы», и «Волшебника Изумрудного города» — с этими книгами училась читать сама, готовилась к школе. А в школе пойдут списки на лето и... чтение постепенно будет иным, особенно в старших классах. Каким-то образом я стану той самой отличницей, которая спешит похватать всё, чтобы заработать оценку и сдать экзамены. И это разучит меня читать на какое-то время. Хорошо, что порой можно учиться

заново. И находить в этом радость удивления! Так мне лишь недавно впервые попала в руки книга «Как стать солнышком» Геннадия Цыферова с иллюстрациями Виктории Кирдий. И это чудо-книжка, честное слово. Рука тянется принести её в дом — то ли себе и родным, то ли маленькому незнакомому человеку, который когда-то может появиться, и солнечные истории станут одними из первых для него. Пока просто хочется, чтобы они были в доме. Когда думаю об этой книге, чувствую, как много в ней тихой любви ко всему живому. И хочется после прогулки, даже самой простенькой, в любую погоду оказаться дома, чтобы делиться подсмотренным в мире большим. А здесь поделюсь окончанием «Узелка на память»:

«Ну, в конце концов, нельзя же так. Сколько можно бродить без дома? Потому милый крокодил очень расстроился и вновь пришел к мудрому слону:

— Наверное, милый крокодил, вы любите всё красивое?

— Да, да! — кивнул крокодил. — Но при чём тут это?!

— Да вот, — смутился слон, — вы всегда привязываетесь на бантик, а ведь надо — на узелок».

*Дмитрий Исакжанов, прозаик (г. Подольск)*

## «Каждый последующий слой краски усиливает глубину цвета»

Когда заходит разговор о книгах детства, то подразумевается, что речь будет идти о книгах, оказавших влияние на человека в начальном периоде его жизни. Но дело в том, что для меня, например, жизнь не делится на периоды, мне она представляется чем-то вроде иератического письма, в котором каждый последующий символ все более расширяет смысл высказывания, начавшегося с первого знака, или же вроде картины старого мастера, в которой каждый последующий слой краски усиливает глубину цвета и добавляет оттенок, не отменяя предыдущего слоя. То есть, думается мне, детство наше простирается вплоть до нынешних наших дней, и, говоря о книгах детства, следует говорить о книгах, оказавших и продолжающих оказывать на нас влияние. Их много. Поскольку читать я научился сперва на церковнославянском (так-то оставлять внука на все лето с бабушкой!), то первой моей книгой оказалась «Псалтирь»: махина размером с два кирпича, составленных рядом. А вот, уже освоив современный русский, я в родной коммуналке читаю «Ай же ты Микула Селянинович...» — в алой, цвета моей scarлатины, обложке, и слева сотрясает стены забористый мат соседей, а справа — зычное «и понапрасну не надо, разные причины не надо...». Я их и не ищу — я знаю, виновата одна любовь. И я люблю всё. Я слушаю песни, я запоминаю «интересные» выражения, я рисую цветы, я собираю грибы, и, конечно, замирая от ужаса, и, все-таки любя до самозабвения, читаю «Майскую ночь», и «Страшную месть», и «Сорочинскую ярмарку» — книги, состоящие из строк, сами являющиеся для меня строками, на которые ложится все остальное.

Строки складываются воедино, картина мира непрерывно дополняется, смысл ее усложняется. Мне — пять: «Каштанка». Более наглядной демонстрации метафизического ужаса существования, я, мне кажется, больше не встречал за всю свою жизнь. «Посторонний» Камю или «Тошнота» Сартра по сравнению с нею, ей богу, лишь пересказ балаганных «ужасов».

Примерно в шесть я открыл, что печатный текст может быть различного пола. К этому времени я прекрасно читал сам, но до чего же приятно было слушать музыку голосов моих родителей! «Белая береза под моим окном» — это мать. «История о попе и работнике его Балде» — конечно, отец. К десяти я открыл для себя, что страницы имеют запах и фактуру: пахнущие пылью и перцем рыхлые листы сообщали куда больше того, что с них считывалось, благодаря чему немало прохиндеистых «Покорителей недр» и «Друзей и врагов Анатолия Русакова» пролезло в мой ум и удобно там расположилось. Но все искупило «Вино из одуванчиков», взятое мною наугад в библиотеке пионерского лагеря, как и положено, после одиннадцати. Оно опьянило меня так, что я не протрезвел до сих пор. И тогда же я понял, что любовь, как уже известно, виноватую во всем, невозможно спутать ни с чем, какой бы сферы жизни она ни касалась и что бы до нее «этого» не встречалось. Можно ценить и уважать, обожать и сходить с ума, можно дорожить, ощущать привязанность, питать благоговение, испытывать потребность, но любить — это любить. При этом, если ты, конечно, не слеп, — и понимать, что любовь не идет вне и не ложится поверх, но, подобно свету, обнимает и пронизывает все, что было до нее, все, что подготовлено для ее появления. Она — связующее вещество, она голос и смысл.

Итак, я мог бы остановиться на Брэдбери, поскольку мало себе представляю превосходную степень любви, но жизнь-то продолжалась, детство никак не заканчивалось, и — вот и следующее открытие: любовь может углубляться, расширяться, увеличиваться, не изменяясь в сути. И она углублялась и расширялась. Она раздавалась до «Тысячи и одной ночи», она закручивалась в тугие бутоны легенд о Рюбецале, аюкалась с марсианской «Аэлитой» и — отыскивалась в самых обыкновенных школьных учебниках: их, кроме алгебры и геометрии, я все прочитывал еще летом. Было время, когда, например, чтение «Легенд и мифов древней Греции» служило мне едва ли не аналогом телесного самопознания, а «Баркентина с именем звезды» — стала пособием по этике, причем пособием весьма доходчивым, ибо доходило оно в буквальном смысле через руки: будучи очарован Крапивиным, я отыскал эту книгу в районной библиотеке и встал перед жестким выбором: или украсть ее, или... — уж очень мне хотелось иметь ее всегда под рукой. И я ее переписал. Всю. И хотя я до сих пор помню, как вечер за вечером переписывал текст печатными буквами в тетрадь, и прекрасно помню саму эту тетрадь, и листы ее — в крупную клетку — я так до конца и не уверен, что буквы, выводимые мною, оставались только там. О нет, конечно, сейчас такие «подвиги» не нужны, неуместны и даже смешны, но, написав «не нужны», я слышу, как внутренний голос мой с усмешкой добавляет: «Кому как, кому как...» А вот обязательных по школьной программе Толстого, Пушкина и Достоевского я, к счастью, в детстве почти не читал. «К счастью» потому, что имел удовольствие прочесть их тогда, когда действительно стоит их читать — примерно в возрасте написания авторами.

(Кстати, предположение о едином временном пространстве, в котором события давно минувших дней продолжают оказывать влияние на настоящее вполне допускает и обратное, то есть что события настоящего влияют на прошлое. Не потому ли, например, эхо будущей жизни находит порою такой живой отклик в детской душе,

ничем еще не подготовленной к его восприятию? Меня до сих пор поражает собственная реакция на стихотворение Заболоцкого «Ночное гулянье», прочитанное в четвертом классе — я, мне кажется, понял тогда всю печаль взрослого человека. Странная мысль, да? Ладно, спишем ее на мою разыгравшуюся поэтическую фантазию. (И всё же...)

Дети мои книг почти не читали. Старшей дочери нравился Кинг, младшей — Гауф, Уайльд и Коваль. Сыну — ничего. Увы, но поделаться с такими удручающими результатами я ничего не смог и, может быть, в качестве самооправдания говорю себе, что чтение совсем уж большого количества книг, может быть, не так уж и обязательно, а может быть — и в этом я уверен гораздо больше, — судьбы людей кое в чем предопределены еще до их рождения.

*Александр Киров, прозаик (г. Каргополь)*

## «Чиполлино постарел»

В самом конце августа 1984 года опытная сорокалетняя учительница начальных классов Зоя Ивановна Рокина обходила своих будущих учеников, первоклассников.

Подойдя к частному деревянному дому на улице Гагарина, она не без удивления обнаружила мальчика, который висел на заборе и с вызовом смотрел на прохожих.

— Здравствуйте! — сказал мальчик Зое Ивановне.

— Здравствуй. А ты кто?

— Мишка Квакин.

На самом деле это был я, Александр Киров.

Первая самостоятельно прочитанная мной книга — «Тимур и его команда». Её я прочитал ещё до школы. В шесть лет. Она же и самая памятная.

Книга эта пробудила в моём незрелом уме странное свойство читательской симпатии, а именно: мне нравились отрицательные герои, точнее, антагонисты. Ведь Мишка Квакин и главный герой очень похожи. И кодекс чести у Мишки есть. Помните, что он говорит (хрипит) Фигуре, злорадному маленькому уголовнику, который глумится над Тимуром: «Он гордый, а ты... ты — сволочь».

Мне кажется, автор вольно или невольно наделил Мишку автобиографическими чертами. Поэтому Квакин воспринимается более жизненно, живо, чем Тимур. И большая часть сорванцов из детской литературы — сами писатели. Это и есть мои друзья.

Зоя Ивановна прошла в дом, посмотрела мой уголок, игрушки, книги.

— Это ничего, — успокаивала она моих ошарашенных «квакиниадой» родителей. — Такое бывает. Всё встанет на свои места, когда мы начнём читать произведения о Великой Отечественной войне.

Встало.

Но, признаюсь, до сих пор я привожу в восторг дочку Машеньку, когда внезапно начинаю орать партию Субастика:

Универмаг,  
Универсам!  
Я просто маг,  
Я просто сам  
Куплю костюм  
И съем всё сам!

Или ораторию Карлсона во время поедания четвёртой тефтельки:

Ура, ура, ура!  
Прекрасная игра!  
Красив я и умён,  
И ловок, и силен!  
Люблю играть, люблю... жевать.

И нас захлёстывает стихия свободного безудержного веселья, атмосферы, ради которой мы всё перечитываем и перечитываем свои любимые детские книги.

Впрочем, с Машенькой я читал совсем немного. Она родилась в 2016 году. В это время, по понятным причинам, я денно и нощно работал. Может быть, поэтому все совместно прочитанные книги она помнит, особенно предпочитая сказки Шарова. И если разговор заходит о них, я непременно начинаю петь:

Турропуто... Путо-турро...

А Маша нет-нет да и вспомнит:

— А ты помнишь, как он назвал принцессу?.. Милая...

Сын Митя родился в 2010 году, и с ним мы общались на почве литературы гораздо больше. Меня всегда потрясало, под каким углом он иногда понимал сказки. Однажды я рассказал ему про Чиполлино. Мы как раз убирали дрова. Мите было четыре года. Я всегда сначала рассказывал ему, что есть, мол, такой персонаж. А потом мы про него читали.

Услышав про мальчика-луковицу, Митя задумался.

— Ты чего? — поинтересовался я.

— Папа, а вдруг мы сами всего лишь сказка, которую кому-то рассказывает Чиполлино.

Через неделю он ни с того ни с сего изрёк:

— Чиполлино постарел.

Сейчас Митя уже большой, и я всё спрашиваю у него, что он имел в виду, говоря про Чиполлино. Однако Митя уже не помнит, а я тем более не могу понять.

Воистину, в детстве мы всё знали об этом мире. А потом забыли. И только детские книги иногда будят в нас тени... нет, не высшего знания, но ощущения бывшей причастности к нему.

Алексей Колесников, прозаик (г. Белгород)

## «Море синее!»

Ребёнок — самый зависимый читатель. Он знакомится либо с теми текстами, которые ему подсовывают взрослые, либо с теми, до которых ему самому удалось дотянуться. «Дотянуться» — это не всегда метафора. Иногда самое притягательное оказывается на верхних полках. Я становился на вертящееся компьютерное кресло и, рискуя свалиться, исследовал домашнюю библиотеку. Если в доме нет хотя бы двух-трёх десятков книг, то ваш ребёнок обречён на унылое взросление в тёмное *несчастье*.

Моя мама всю жизнь, с перерывом на публикацию меня, работает учителем русского и литературы, поэтому моё чтение, с младенчества и до зрелости, было детерминировано её предпочтениями. Иными словами, мне невероятно повезло. Рядом со мной всегда был наставник. Я испытываю такую потребность к чтению, какую испытывают неопиты к молитве.

Вначале были сказки, которые мама читала или пересказывала. Их набор очевиден для всякого, кто родился в периоды до, во время или несколько позднее перестройки. (Я девяносто третьего, а родители — семидесятого года рождения.)

Сказки смешались в единую сагу с Серым волком, Бабой-ягой, «одним мальчиком», неким таинственным лесом и всевидящим добрым Богом или справедливым, но своенравным Царём.

Однако же были истории, которые впечатлили сильнее прочих. Сначала мне их читали взрослые, а потом я и сам их перечитывал в великолепно иллюстрированных книгах.

До сих пор люблю «Краденое солнце» К.Чуковского. Социальность, присутствующая в моих сочинениях, очевидно, оттуда. Эту вещь я перечитывал, наверное, сотню раз. Больше всего нравилось, когда медведь разрывал пасть крокодилу и освобождал солнце. Настоящий катарсис:

Солнце вывалилось,  
В небо выкатилось!  
Побежало по кустам,  
По берёзовым листьям.  
Здравствуй, солнце золотое!  
Здравствуй, небо голубое!

А его же «Путаница»? В этом тексте жить хочется:

А лисички  
Взяли спички,  
К морю синему пошли,  
Море синее зажгли.

Море синее! Не «чёрное», хотя, вмещается в строфу. Именно синее. А комарики, которые на воздушном шарике...

Рука об руку с Чуковским шли Агния Барто и другие замечательные советские детские писатели. В те времена по телевизору показывали множество детских мультипликационных фильмов. Теперь уже трудно сказать: читал я сказки или смотрел. Мой фаворит: мультфильм «Молодильные яблоки» И.Аксенчука — экранизация народной сказки, записанной Афанасьевым. Помню, что в траурные дни, а они в первой половине девяностых случались будто через день, показывали грустные мультфильмы. Я их не любил, но помню до сих пор.

Отдельно стоит сказать очевидное: детство было переполнено Пушкиным. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» будоражит воображение:

Там за речкой тихоструйной  
Есть высокая гора,  
В ней глубокая нора;  
В той норе, во тьме печальной,  
Гроб качается хрустальный  
На цепях между столбов.  
Не видать ничьих следов  
Вкруг того пустого места,  
В том гробу твоя невеста.

Мороз по коже! Рано или поздно магистры морали и рыцари нравственности запретят это детям, оставив лишь Лунтика.

Недавно у одного талантливому репера в соцсетях наткнулся на воспоминания о детской Библии в голубой обложке. У нас тоже такая была. Что-то из неё я в самом раннем возрасте прочёл.

Ещё к незабываемому относится опыт многократного чтения книги Пришвина «Рассказы о животных». Она мне невероятно нравилась.

Особняком стоит психоделический Ганс Христиан Андерсен, в особенности его «Огниво» и «Русалочка». Вот уж кому я обязан крепкими нервами.

В «Огниво» меня завораживали три собаки, сидящие на трёх сундуках. У одной глаза — как чайные чашки, у другой — как мельничные колёса, а у третьей — с круглую башню. Я могу детально нарисовать этих собак и сундуки под ними.

«Русалочку» же нужно прочесть каждому мальчику. Верный способ предупредить возможное развитие мизогинии. Я до сих пор не могу простить нам — мужчинам — муки Русалочки, страдающей от режущей боли при каждом шаге. И как трогательна морская пена в финале — единственное, что осталось от подвига во имя любви!

Памятны мне и «Принцесса на горошине», и «Снежная королева», и «Гадкий утёнок», и «Новое платье короля». Андерсен очень важен ребёнку.

Во время прогулок мама читала мне наизусть стихи. Запомнились два. Наши сограждане помладше меня, увы, никогда-никогда уже эти стихи не узнают и не выучат. А мне вот, контрабандой, удалось к ним приобщиться.

Во-первых, это «Сын артиллериста» Симонова. Умеет он, конечно, нажать на слёзную железу!

Он обнял майора, прежде  
Чем в госпиталь уезжать:  
— Держись, отец: на свете  
Два раза не умирать.

А ещё — «Вересковый мёд» в переводе Маршака:

Мальчику жизни не жалко,  
Гибель ему нипочём...  
Мне продавать свою совесть  
Совестно будет при нём.

Хладнокровно, от начала до конца, эту вещь невозможно прочесть. Попробуйте!

Помню своё увлечение рассказами О.Генри. Мама несколько раз читала замечательный рассказ «Дары волхвов». Остальные открывал самостоятельно.

Далее была школьная программа, произведения из которой я, по понятным причинам, не мог игнорировать. Параллельно с ней поглощал замечательные книги серии «Иллюстрированная классика»: Дюма, Стивенсон, Гюго и далее, далее, далее. Слева текст, в сокращении, а справа иллюстрация.

Я любил стихи. Сборников было огромное множество: «Нерв» Высоцкого с дрожащими буквами на жёлтой обложке, зелёный томик Лермонтова, тоненькая книжечка Есенина с автобиографией вначале.

Последней из запомнившихся непрограммных книг, прочитанных как раз у границы детства, кажется, была повесть «Никто» А.Лиханова. Потрясающая книга для юношества. Может, сейчас несколько устарела, но была у меня такая радость.

Собственных детей я пока не имею, но знаю, что буду им читать примерно то же самое. Думаю, что ребенку полезно почувствовать красоту и сложность родного языка, узнать, что мир несправедлив и высшим проявлением несправедливости является смерть; что несмотря на всё это, в мире найдется место для любви, сострадания, героизма и творчества. И страшно ему иногда должно быть, и горько, и радостно, и непонятно. Думается мне, что если в детстве этого не случится, то и дальше всё пойдёт неправильно.

*Борис Кутенков, поэт, литературный критик, редактор журнала «Формаслов» и портала «полутона» (Москва)*

## «Выбрать одну книгу непросто»

Книга детства... Как сказано у современного поэта: «У меня к нему, знаешь, детство./ Детство — это неизлечимо». Именно до семнадцати лет мы становились читателями, а может, только тогда и были ими: умели воспринимать произведение, исходя из чистой эмпатии, вне иерархических координат. В дальнейшем чтение либо вовсе вытеснялось из жизни, либо — заменялось «профессиональным». Уроки такого эмпатического чтения даю себе до сих пор — и не обязательно в строгом смысле детского. Так, с чувством ностальгии, постоянного обновления (и книги, и себя на её фоне), с интересом к особому сканированию пройденного пути — вплоть до физических детских переживаний! — перечитываю и скрипучую соцреалистическую «Вареньку» Николая Лобко (так важную среди мирового хаоса — представления же, пусть и слегка

наивные, о добре и зле!); расставляющие что-то важное по полочкам романы Александры Марининой периода нулевых, где писательница ушла от чистого детектива и пустилась в странствия психологической прозы. «Унесённые ветром», вовсе для меня не беллетристичные; и даже — из чистого самопознания, в попытках вернуть себе себя восьмилетнего, — исторический роман Грегора Самарова «На троне великого деда» о Петре III, который сейчас кажется эпигонским по отношению к «Капитанской дочке», но так захватывал тогда... И Моэма по десятому разу; о нём разговор совершенно особенный. Знаю, что многое из этого перечитаю ещё не раз, не два и не пять, и будет вечно ново. И ново, и вечно.

И всё-таки — Владислав Крапивин. Для этого опроса — Владислав Крапивин, детям и подросткам всех времён — Владислав Крапивин.

Выбрать одну книгу было непросто. Примерно раз в три года открываю и болевой, беспощадно жуткий «Белый шарик матроса Вильсона», где в начале девяностых писатель вышел из каких-то рамок — описал и сталинские лагеря, и потусторонний мир через психологию ребёнка... И «Трое с площади Карронад», где спешащая мама устраивала личную жизнь, а маленький герой жил в мире собственных «корабельных» переживаний (но сколько же всего помимо! так и чувствуешь обеднение в этих кратких пересказах). И «Колыбельную для брата» — о заступничестве, о горячем чувстве собственной правоты в споре со взрослыми. И «Всадники со станции Роса» и «Мальчик со шпагой», где юного героя ставят перед суровым выбором: выкрикнутая правда и социальное одиночество — или удобная неправдивость.

И всё-таки — «Журавлёнок и молнии».

История о конфликте сына-интеллигента с тонкой душевной организацией и непонимающего отца-мужлана, что так откликалось на мои отношения с родственником, заставляло проливать слёзы — реалии не чета моим... Меня вот не били, в отличие от маленького Юры Журавина, а тут герою пришлось убежать из дома с котом в обнимку; родителю и сыну — осознавать и горячность, и правоту, и неправоту друг друга, проходить через тяжелейшие стадии к — уже кажущемуся невозможным! — примирению. В книгах Крапивина ребёнок — прежде всего человек, он же — задиристый борец, взрослые — чаще всего крикливы и неправы. Через годы смотришь на всё это с меньшей однозначностью; но кто не испытывал подобных эмоций в десять, двенадцать, четырнадцать? Психологические нюансы таких взаимоотношений остаются не до конца разрешёнными и сейчас, побуждают возвращаться. А для детского мира важно было, что победитель — ребёнок и что к победе (пусть внутренней, далеко не всегда внешней, — их конфликт в книгах Крапивина тоже обрисован) его ведут честно, без заигрывания с нами. Это ставило прозу Владислава Петровича на особую полку — подавало ребёнку «плохой» пример, по мнению ругавших писателя дидактов; помогало чувствовать себя неодиноким среди давления среды и всяких «молчи, потому что ты маленький».

Даже парадоксально: нонконформизм сладко лелеет подростковое упрямство, хотя воспитывает что-то правильное в неизбежной борьбе с миром, — а сам советский Крапивин сейчас даёт пример разумного конформизма. Не быть соцреалистом, нащупывать пределы разрешённого, не хаять и не апологизировать советский строй, но — как бы даже и вовсе не говоря о нём, с откровенной правотой мыслить о жизни.

Да и просто — хорошо написано, тут профессионального «излечения» от детства точно не произошло.

Недавно пришлось спорить с человеком, который уверял, что Журка погиб (если кто помнит финал книги, побег из школы-тюрьмы, старшеклассников,

бросившихся на помощь). Никогда такое в голову не приходило — что при первом чтении в десять лет, что в прошлом декабре. Писатель ненавязчиво оставил нам явный финал, обойдясь эвфемизмом? Чересчур скрыто предложил финал открытый — полагаясь на разность интерпретаций? Или такова читательская наивность, которая не допускает очевидного? Вспоминается записка, отправленная читательницей Дине Рубиной на одной из встреч: «Дина Ильинична, вы сволочь, зачем вы его убили!»

Книга Крапивина — открыта и точно жива. Открыта прочтениям будущих поколений, ребятам, которые вот так же будут вооружены суровой прямоотой и упрямством среди подавляющего взрослого мира. В конце концов, совет деда Юре Журавину — «если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, делай по-своему», — он не только для детей, он — на все времена.

*Станислав Минаков, поэт, прозаик, переводчик (г. Белгород)*

## «Здравствуй, Месяц Месяцович!»

Читать я начал довольно поздно, лет с пяти. Мама была большим книголюбом и потому немало поработала в библиотеках, хоть и с перерывами. Пятилетним, мама записала меня сразу в две детские библиотеки, которые помню по сей день — тамошнюю обстановку и свои впечатления от рытья в книжках. Новую книгу прочитывал быстро. С середины 1960-х было довольно много детской и подростковой литературы — разного художественного уровня — о Великой Отечественной войне. Всё проглатывалось запоем, с интересом. Ведь и жили мы в Белгороде — городе Первого салюта, на Курской дуге. «У нас была великая эпоха», — сказал известный литератор, уроженец Харькова, то есть мой земляк, и это было время, когда книга действительно являлась лучшим подарком.

За отличное окончание начальной школы моя первая учительница Тамара Владимировна Курбет наградила меня книгой «на вырост» и, в общем-то, судьбоносной, — повестью воронежца Евгения Дубровина «В ожидании козы»; Дубровин на десяток лет станет главным редактором журнала «Крокодил», а я буду всю жизнь перечитывать его книгу — о трагическом послевоенном детстве; считаю, что её следует ввести в поле школьной программы по литературе. С такой же полнотой цельного художественного впечатления, восторгом открытия возможностей русского слова и ощущения космоса вне и «внутри нас», чуть позже я прочёл повести Юрия Коваля «Недопёсок», «Алый», «Самая лёгкая лодка в мире», незабываемые рассказы о деревне Чистый Дор...

Огромное впечатление произвели на меня «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Тонкое взаимопросвечивание юмора и лиризма в сочинениях этого автора всегда прекрасно воспринималось и детьми, и взрослыми. Я и нынче могу, как поэму, по памяти воспроизвести названия рассказов. Сто раз читано-перечитано, в разном возрасте, и с детьми. И неизменно — с восторгом.

И солидный пятитомник изумительного, неповторимого рассказчика историй Льва Кассиля перечитывался мной многократно: «Кондуит и Швамбрания», «Великое противостояние», «Дорогие мои мальчишки», «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Будьте готовы, Ваше высочество!», «Черемыш — брат героя». Красивые тома Кассиля мы получали в белгородском «Магазине подписных изданий» — была и такая форма книготорговли в Стране Советов. О поступлении очередного тома нас уведомляли открыткой, и мы с отцом шли его выкупать, предвкушая тактильную и обонятельную радость от свежего плода книгопечатного «станка эпохи Гуттенберга». Так мы приобрели коричневый девятитомник Ивана Бунина. И двадцатитомник Библиотеки приключений! Десять лет получали знаменитый 200-томник Библиотеки Всемирной литературы (БВЛ)! На нелегальном рынке он быстро сравнился по цене с жигулёнком. Я ходил в «подписной» вместе с отцом ещё и потому, что ему требовался поводёр: отец полностью утратил зрение к 1962-му, в 33 года, когда мне было три. Понятно, для кого инвалид I группы по зрению покупал книги, отдавая рубли из своей скудной пенсии.

Вышел толстенный том Твардовского в БВЛ; я терпеливо его прочёл в среднем школьном возрасте, и поэма «Василий Тёркин» перевернула моё представление о пластических возможностях родного языка, его мелосе, ритмике, интонации, лексике. Я не знал тогда, как отзывались о «Тёркине» Бунин и Пастернак.

А был ещё и волшебник слова Катаев! И знаменитый роман его младшего брата я прочёл классе в пятом, хохотал, и когда на уроке писали сочинение-миниатюру о любимом литературном герое, назвал свой опус «Бендер — весёлый человек». Но и этот неожиданный рёгот, конечно, не отменил для меня прозу Гайдара — «Голубая чашка», «Чук и Гек».

Разумеется, любимыми книгами детства я захотел поделиться со своими детьми. Это немалый список. В чём-то он оказался расширительней списка моего детства, поскольку хоббитологию Толкина и «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса я прочел одновременно с детьми. Отлично зашла всей семье «Бесконечная книга» Михэля Энде в переводе Татьяны Набатниковой, подкреплённая американской экранизацией («Бесконечная история»).

Кто-то саркастически относится к «Волшебнику Изумрудного города» А.Волкова — дескать, калька с книжки американца Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Как человек, изрядно попереводивший детскую английскую поэзию, считаю: «Страна Оз» написана скучно, а «Изумрудный город» — живым пером. Ровно таков и казус с «Пиноккио» и «Золотым ключиком» — первая книжка похожа на синопсис сценария, а сказка-притча А.Толстого — шедевр русской детской литературы. Вывод — прав был мольтеровский персонаж, утверждавший: «Беру своё, где б я его ни брал!» Иными словами, убеждает и побеждает не всегда тот, кто придумал, но тот, кто талантливей усвоил, претворил, оформил и представил. А уж сколько наберётся сюжетов, кочующих от народа к народу, от культуры к культуре!

Кроме того, в случае с детской литературой — при успешном результате — мы почти всегда получаем не перевод, а переложение, парафраз, проекцию. То есть новую книгу. И Борис Заходер подчёркивал, что его книга — пересказ, плод сотворчества и «пересоздания» Милна по-русски.

Да, было у моей детворы и остальное каноническое: и «Лисичкин хлеб» Пришвина, и тысячекратно, не менее, до дурноты повторенные «Заячьи следы» Виталия Бианки, и картинки с письменами Сутеева, и иллюстрации Юрия Васнецова, семейства-артели Траугот. В какой-то момент у нас дома на передовую вышла книжка «Меховой интернат» Э.Успенского, оформленная В.Чижиковым. Русскому ребёнку, взявшему в руки книгу, очень важны талантливые иллюстрации, и в нашей стране искусство книжной графики было на невероятной высоте. Мы с детьми читали сказку Юрия Олеши «Три толстяка» — с иллюстрациями гениального Виталия Горяева.

Понятно, что нельзя обойтись без наших фундаментальных шедевров про Незнайку киевлянина Николая Носова (два огромных тома, по мере их выхода из печати, мне в детстве концептуально подарила младшая мамина сестра), предсказавшего на «обратной стороне Луны» кривое зеркало капитализма за полвека до нашей новейшей алчной эпохи (через десятилетия я напишу небольшое эссе «Роман-сказка “Незнайка на Луне” как пророчество и предостережение»).

Весомый вклад в ментально-эстетическую копилку моих детей внесла сказка Петра Ершова «Конёк-горбунок». Хорошо знакомые с пушкинскими сказками, поэмой «Руслан и Людмила» (с иллюстрациями белгородца Станислава Косенкова на всех разворотах!), они «Конька» приняли как родного. Детям казалось, что Пушкин и Ершов — это один автор; возможно, в этом — их стихийная литературоведческая правота.

То была великая любовь: восьмилетняя Аня вручную изготовила книжку «Конёк-Горбунок», насквозь оформленную её собственными handmade шрифтами, рисунками и виньетками. С шестилетним братом они часами слушали пластинку с записью Олега Табакова, читавшего «Конька-горбунка». В какой-то момент выяснилось, что дети почти весь текст выучили наизусть. Увенчало семейную эпоху ершовского апофеоза забавное появление в ироничной лексике сына непонятного словосочетания «Иван Петросторон». Выяснилось, что изрядно запиленная любимая пластинка с народным артистом Табаковым скачет на словах «Наш Иван с него слезает, В терем к Месяцу идёт. И такую речь ведёт: «Здравствуй, Месяц Месяцович! Я — *Иванушка Петрович!* — Из далёких я *сторон...*», и получается, на слух Саши, то ли новый персонаж, то ли новое прозвище главного героя, Ивана, — Петросторон.

Лет через пять Саша самостоятельно записался в воскресную православную школу — как-то, придя домой, ошарашил пафосным заявлением: «Я начал своё духовное образование!» И помню Сашкино победное ликование, когда однажды, возвратясь из храма, он раскрыл «воскресную» тетрадь своих духовных штудий и приподнято-таинственно извлёк из собственных каракулей: «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон... — тут Саня сделал мхатовскую паузу, — апостола Иоанна Евангелие. Круто? Лифостротон!.. Почти Петросторон!.. Иван!» И несколько дней ходил «пророчески» сияя.

Были у моих детей и такие книги, каких не было в моём детстве, например, толстенный том «Сто фантазий» Юнны Мориц. Книгу привезла нам в Харьков моя мама, работавшая в Белгороде в библиотеке для слепых, и мы с восторгом читали её детворе — своей и не только. Известная «поэтка» открылась нам с неожиданной стороны.

Даже самые простые обращенные к детям стихи Мориц завораживали непостижимой мелодикой: «Он приехал из Херсона,/ Из зелёно-голубого!/ Прыгнул в кузов из вагона,/ Из зелёно-голубого!..» или «Купив кефир и каравай,/

а также соль и свечку,/ мы прыгнули в речной трамвай/ и переплыли речку...», или «У меня уже готов/ для тебя букет котов...»

В 1990—1991 годах трясения в наших умах произвел новый детский журнал «Трамвай» — красочный, занятный, остроумный, талантливый, неожиданный, во главе с Тимом Собакиным и Андреем Усачёвым со товарищи. Помнится философская прозаическая картинка — как из приоткрытой консервной банки вырвалась селёдка, стала летать по комнате и кричать: «Швабод! Швабод!» «Вредные советы» Григория Остера адекватно считывали мои дети, а вот внук принял за чистую монету.

Когда появляются детские произведения? Как правило, когда писатели сочиняют для своих детей. Или внуков. Или даже не для своих. Но детей. И получается — для всех. Поскольку все мы и есть дети. Даже если «мы все войны шальные дети». Алан Милн сочинял истории про медвежонка Винни-Пуха — для своего сына. А Кэрролл начал сочинять истории о приключениях Алисы сразу для трёх девочек! А в начале XIX века для своего шестилетнего сына банкир Уильям Роско написал стихотворную историю «Бабочкин бал», из которой через сто лет большой поклонник английской литературы для детей Корней Чуковский вырастил русский парафраз — грандиозную «Муху-Цокотуху».

Однажды, году эдак в 2003-м, мы вышли из Харьковского академического театра оперы и балета с прибывшим к нам на фестиваль поэтом Кушнером (мне выпала честь вести вечер гостя), и Александр Семёнович вдруг обмолвился, что составляет том произведений Чуковского для Большой серии «Библиотеки поэта». И спросил — как, дескать, думаете, насколько это правильно, корректно ли помещать «детского» поэта в такую «взрослую» серию? И я ответил «на всю Сумскую»: «Вот и Гиппо, вот и Поппо, Гиппо-попо, Гиппо-попо! Вот идёт Гиппопотам!..» Кушнер чуть ли не подпрыгнул от мальчишеского восторга и воскликнул: «Правда же, гениально?» Конечно, гениально.

Не могла не поразить книжка стихотворений «Я был однажды в доме», созданная прекрасной ленинградской поэтессой Нонной Слепаковой, которая блистательно перевела десятка два стихотворений Милна, из двух поэтических книжек, примыкающих к «Винни-Пуху». Вообразите пятилетнюю девочку, которая на вступительном экзамене в харьковскую Детскую школу искусств № 2 им. Чайковского по просьбе приёмной комиссии начинает читать такие, неведомые стихи:

Честь имею вам представить трёх лисичек из лесочка.  
Ни одной у них рубашки, ни единого чулочка,  
Только есть у них коробка, а в коробке три платочка,  
Носовые три платочка. Вот и всё. На этом точка!..

Педагоги харьковской ДШИ, как говорится, видали виды, но впечатление от этих стихов и их исполнительницы вспоминается ими и спустя тридцать пять лет.

А попробовали б вы найти звуковой эквивалент милновской звуковой игре! Нонна Слепакова — нашла:

Бумстер и Бамстер, Трэди и Тради,  
И старенький Шумстер — СОЛИДНЫЕ ДЯДИ  
Мчались за Чёрною Курочкой вслед.  
Странно! Чего это ради?..

Слепакова настолько меня включила, что я, как водится у нас, графоманов, тоже взялся переводить детские стихи Милна, умудрился в 1991 г. найти в Харькове издательство, выпустившее книжечку моего Милна «Где живёт ветер» 50-тысячным тиражом, который, как уверяли, разошёлся мгновенно. Детективную историю с тиражом здесь пропускаю, а скажу, что послал свои книжицы Слепаковой и Заходеру, оба очень тепло отреагировали, прислали свои книжки и т.д. Я вдохновился и продолжил переводить. Аня сделала несколько иллюстративных рисунков пером и тушью, замечательная харьковская художница книги Ирина Оленина по своему хотению выполнила полдюжины цветных очень красивых графических листов, но все они были украдены с выставки «Молодые художники Харькова». Издать своего Милна большой красивой книгой мне пока не привелось.

Подобная микроэпопея случилась и с циклом переводов, появившихся, когда пришла пора обучать детвору английскому, то есть когда моим исполнилось четыре-пять лет, и я взял в руки тоненькую книжечку английской народной поэзии для детей *Nursery Rhymes*, по-нашему говоря, «Стихи из детской». Сочинения эти — считалки, бурчалки, лирические куплетки — пришли, что называется, из глубины веков, улеглись и устоялись в англо-саксонском «ухе сердца», оказали существенное влияние на авторскую литературу новых, а также и новейших времён.

И не то чтобы в этом был элемент состязательности с предшественниками, скажем, Чуковским и Маршаком (их лучшие переводные детские опусы были и на слуху, и очень читателям нравились, и мною детям читались вслух многократно). К примеру. Робина Бобина на русский Чуковский пересочинил как дразнилку («Робин Бобин Барабек...») ещё в 1927 г., а когда это сделал Маршак, я не помню, но и он не смог не написать свою версию. И у меня «понеслось» — по новым орбитам, и вывернулось в финале в некий глобальный апокалипсис. Сегодня это читается как актуальная публицистика.

Можно рассказать, что же ещё читали, писали и переводили, иллюстрировали, публиковали, пели и исполняли Минаков-отец, Минаков-сын, Минакова-дочь, но это уже не совсем детские и совсем не детские истории.

*Хелена Побяржина, поэт, прозаик, переводчик (г. Браслав, Беларусь)*

## «Лучший подарок в моей жизни»

Читать у меня не получалось. Не выходило. Чтение мне не давалось. Не то чтобы до школы мною предпринимались массовые попытки, напротив, в чтении просто-напросто не было острой необходимости, потому что взрослые всегда с удовольствием рассказывали сказки или читали мне сами, и не было нужды даже пытаться, а уже в первом классе буквы долго не приклеивались друг к дружке, и я не могла их запомнить приблизительно всё первое полугодие. Когда навык был освоен, я довольно быстро стала первой в классе по скорочтению, но читала не всё подряд, о нет. Мне было сложно угодить. В то время уже ускакали деревянные лошадки Барто, кибальчиши

с чуками и геками унеслись вместе с эпохой в детство родителей, учебники литературы вызывали досаду, казались тарабарскими, несовременными и необязательными. Но и в библиотеке выбор давался с трудом: какие-то истории я находила слишком мальчишескими, какие-то слишком фантастическими, меня интересовала обычная, не очень магическая реальность, говорящие звери, скорее, раздражали, а волшебные артефакты приводили в недоумение.

Я была девочкой с душой бабки, в восемь лет открыла для себя поэтов Серебряного века, а в частности — Марину Цветаеву, и именно её сборник стихов мог бы стать Той, недетской, правда — Книгой, которая бы меня удовлетворила тогда... Но в том-то и дело, что такой книги не было. Первый собственный сборник стихов Цветаевой у меня появился только лет в тринадцать.

А Та Самая Лучшая книга детства всё-таки случилась раньше. Её мне вручила подруга на день рождения, и я до сих пор считаю, что это, пожалуй, лучший подарок в моей жизни.

Повесть «Мадикен и Пимс из Юнибаккена» Астрид Линдгрэн навсегда стала настольной и прикроватной. Сразу оговорюсь, читать её нужно только в переводе Ирины Новицкой. Во многом благодаря тому, как она передала на русском атмосферу маленькой усадьбы в шведской глубинке, я начала понимать, что не все переводы бывают одинаково полезны.

Жизнь моей ровесницы Мадикен и её сестры в обычной семье из провинции Смоланд, в начале прошлого века, показалась такой понятной и знакомой, будто я встретилась с какими-то дальними родственниками. События в книге перекликались с моими личными историями: моя семья так же праздновала дни рождения на природе и торжественно встречала Рождество; так же, как Мадикен, я любила наряжаться и получать в подарок «маленькие блаженства», при этом видела вокруг себя таких же неблагополучных, но колоритных соседей, как у персонажей книги, и рано осознала, что «бедность беспомощна», хоть и жила в другом краю, через восемьдесят лет, без служанки и в многоэтажке.

Долгое время ведя кочевую жизнь, я всенепременно возила книжку с собой и до сих пор перечитываю её раз в год, хотя бы любимые места, пусть и знаю уже наизусть.

Мой сын, в отличие от меня, научился читать самостоятельно и незаметно. Очень рано, кажется, ему ещё не было пяти. Просто стоял возле кухонного стола и неожиданно прочитал: белХ. Довольно быстро усвоил, что читать надо слева направо, а вот с художественной литературой начал строить отношения только ближе ко второму классу. До этого его интересовали исключительно энциклопедии, справочники и адаптированные пособия для детей по разного рода наукам.

Навязывать свою девчоночью любовь к Мадикен я, конечно, не стала, поэтому он пока знакомится с другими героями Линдгрэн. Правда, оказалось, что мой сын тоже восьмилетний дед в душе. Каждого персонажа книги он обязательно препарирует с моральных и этических сторон.

Что и говорить: ни Эмиль, ни Пеппи, ни Карлсон поначалу не вызывали его одобрения. Он столько морализаторствует по ходу чтения книг с такими неуправляемыми и безрассудными героями — какими и положено вообще-то быть детям, — что я всякий раз неминуемо задаюсь вопросом, в какой момент как мать свернула не туда. Однако если Эмиль поначалу был охарактеризован как «сумасшедший мальчик, который не задумывается о том, что творит», а Карлсон как «вор, заражённый болезнью потери страха», то к середине прочитанных повестей сын уже бывал

безоглядно очарован каждым из линдгреновских персонажей, а к концу — очень расстраивался, что книга закончилась, и обязательно придумывал какие-то свои доп. главы и финалы.

Одной из любимых недавно прочитанных книг у моего восьмилетки стал «Волшебник Изумрудного города» Волкова. Сын пришел в восторг от хитроумного Гудвина, и его захватила мысль, что все те качества, которые люди (или не люди) жаждут получить — ум, добросердечность, храбрость и мужество, уже, оказывается, имеются у них в «заводских настройках».

Ну а в лидерах его читательских симпатий на сегодняшний день находится «Орден жёлтого дятла» Монтейро Лобату. Эту повесть и остальные, недавно переведенные части, пока не потеснили с пьедестала другие истории. И я его прекрасно понимаю: что-то завораживающее есть в этой книге вне времени, в мире, созданном Лобату, он настолько реалистичен, что ожившие герои басен, волшебная палочка и сказочные принцессы, пьющие с простыми смертными кофе за одним столом, говорящие куклы и животные легко справляются с нашим магическим скепсисом.

*Олег Сидоров (Амгин), прозаик, публицист (г. Якутск)*

## «Что же мы читали?..»

Детство... Небольшое село Амга... Помню, после долгой зимы, уже ближе к весне, окна нашего небольшого дома в солнечные дни оттаивали от инея и яркий солнечный свет, падающий на деревянные крашенные половицы, извещал: скоро будет лето!

Мама каждое лето покрывала сверху эту краску еще и лаком, отчего свет отражаясь от пола, слепил глаза, и солнечные зайчики играли на потолке... В деревянной кадке в нашем маленьком доме теснился высокий куст, его называли китайской розой с блестящими гладкими тёмно-зелёными листьями и порою появляющимися яркими красными цветами... Я вставал на диван из массивного дерева, чтобы дотянуться до радио, из которого лились музыка и песни, а потом шли передачи на якутском языке. Я ждал, когда диктор поставленным голосом начинал читать рассказы якутских писателей. Это длилось недолго, наверное, час или полчаса. Я внимательно слушал и весь обращался в слух, когда передавали отрывки из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» Платона Ойунского в исполнении Гаврила Колесова... Так слово приходило ко мне устно.

Что же мы читали?

Конечно же, переведенные на якутский язык «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Приключения Незнайки и его друзей», «Старик Хоттабыч»! Якутские сказки о старушке Бэйбэрикэн, Агаа Могус и другие... Или про «Знаменитого утёнка Тима», гадкого и храброго, рассказ Суорун Омоллооно «Чечески»... Сказки Пушкина... Эти герои из разных культур и эпох жили в моем воображении.

Как-то раз мама взяла нас со старшей сестрой в книжный магазин, расположенный в маленьком деревянном домике, с пола до потолка заставленном разнообразными книгами! Мы выбрали и купили сказки Ганса Христиана Андерсена. Мама сказала: «Теперь вы сами можете ходить сюда и выбирать книги». С тех пор книги стали лучшим подарком на дни рождения. Я дарил книги сестре, а она — мне. Однажды в книжном магазине я купил сказку о Золотом олене. Она была необыкновенно красива. Обложка вся блестящая — лакированная. Как драгоценность нёс я её домой, и припрятал до дня рождения Наташи, и вынул из своего тайника в ее день рождения 9 мая.

Когда сестра пошла в первый класс, родители выписали журнал «Мурзилка», а потом и «Пионер»... Мы ждали эти журналы и читали вместе.

Очень хорошо помню, как в третьем классе наша учительница Раиса Васильевна Чемезова дала нам прочитать на уроке отрывки из олонхо «Тойон Джагарыма» народного писателя Кюннюк Урастырова. Олонхо я слышал и раньше, но когда передо мной был текст, который сам читаешь вслух, да еще на уроке, совершенно другое восприятие... И этот удивительный сказ пленил меня своеобразным богатым якутским языком. Моей радости не было предела, когда в районной библиотеке обнаружил это олонхо, изданное в 1959 году отдельной книгой. На красочно оформленной обложке — изображения доспехов богатыря, щит с якутскими орнаментами, батыя... Потом я узнал, что олонхо «Богатырь тойон Джагарыма на рыжем коне» было создано поэтом еще в 1941 году.

В эти же годы, когда учился во втором классе, мама просила нас с сестрой поочередно читать журнал «Хотугу сулус», издававшийся на якутском языке. Мы читали произведения классиков якутской литературы Суоруна Омоллоона, Амма Аччыгыя, Николая Якутского, Ивана Гоголева, Софрона Данилова... Эти вечера повлияли на меня, привили любовь к чтению, за что я благодарен матери. Под треск огня в печи мы садились в круг и начинали все вместе переживать с героями перипетии их жизни.

Потом уже открывал фантастику, и Жюль Верна, и Александра Казанцева, Ивана Ефремова... Вместе с уроками русской литературы моё портфолио пополнялось новыми героями...

*Амарсана Улзытуев, поэт (г. Улан-Удэ)*

## «Кто такой Геркулес?»

Я не большой мастак писать в прозе. Просто ненавижу прозу. Считаю — это деградировавшая до невежественной толпы великий эпический жанр поэмы. Поэтому Пушкин поэму назвал романом в стихах, а Гоголь свой роман — поэмой. Собственно, как и театр, это лишь инсценировка для толпы — великих античных трагедий, сотворенных стихами. Вот мой недавний стихотворный текст, где заложены ответы на оба вопроса, надеюсь, подойдёт?

### *Недоросль*

Воистину миром правит рука, качающая колыбель,  
Выясняется, что мой, сдавший ОГЭ и ЕГЭ, остолоп не знает, кто такой Геркулес,  
Ничего не ведаёт о Гэсэре и Илье Муромце — бакалавр и почти магистр,  
И в телефоне у него аватарка из какого-то дурацкого анимэ.

Так же ничего не слышал он об Одиссее и о Троянской войне,  
Даже Елена Прекрасная не ведома для него,  
Боже, кого я вырастил, кого воспитали сценаристы из анимэ,  
Всё же он добрый малый — хотя бы на этом спасибо им!..

Тут же звоню в Улан-Удэ, племяннику двенадцати лет,  
Тот не поднимает трубку — он сейчас на уроках,  
Нужно мне срочно узнать — знает ли он о героях Эллады, что мой сын пропустил,  
Кажется, мир перевернулся у меня в голове...  
Наконец, отвечает — тараторю — Тамирка, срочно мне ответь,  
Малец, знаешь о Геракле, ну, Геркулесе — не путать с кашей?!

С облегчением хватаюсь, как за спасательный круг, за долгожданный ответ —  
Алло! Ну да, тот который 12 подвигов совершил...

*Ислам Ханипаев, прозаик (г. Махачкала)*

## «Мои дети точно должны любить читать»

Мое детство прошло без книг, и любви к литературе я никогда не испытывал. Проигнорировал школьную программу, а в универе и речи не шло о том, чтобы читать книги (учился я еще более сомнительно). К чтению художки я пришел в двадцать три года, но, оглядываясь назад в детство, был один текст, который я прочитал и по классике любого будущего писателя сел писать продолжение.

Речь о «Незнайке на Луне». Я помню, что читать ее начал сам, вне учебной программы. В девять, кажется, лет. И потом возмущался тем, что книга так неожиданно закончилась.

По поводу книг моих детей — их очень много. Они все модные современные. Тяжело выделить что-то одно. Мы с супругой решили, что дети точно должны ценить книги и любить читать, поэтому стараемся читать перед сном. На данный момент сын (6 лет) без ума от Маугли. Хорошо идёт)))

Ганна Шевченко

## Шесть ноль восемь

\* \* \*

Под пуховым одеялом,  
рано утром, в шесть ноль восемь,  
понимаешь, просыпаясь, —  
в городок явилась осень.

Понимаешь, просыпаясь,  
что неважно, где ты, кто ты, —  
нужно встать, почистить зубы  
и тащиться на работу.

Нужно вслушаться на время,  
по сложившейся привычке,  
как за парком громыхает  
городская электричка.

Как звенит на перекрёстке  
воздух, транспортом колеблем,  
и с трагическим шуршаньем  
листья падают на землю.

Нужно выйти из подъезда,  
свет приветствуя несмело,  
потому что в шесть ноль восемь  
ПВО вдали гремело.

Нужно лёгкими расправить  
воздух, скомканный от дрожи,  
словно мантру повторяя —  
«всё пройдёт, и это тоже».

---

*Шевченко Ганна Александровна* — поэт, прозаик. Родилась в 1975 году в городе Енакиеве. По образованию финансист. Автор пяти сборников стихов, в том числе «Путь из орхидеи на работу» (М., 2020), «Хохлома, берёзы и абсурд» (М., 2023), и четырёх книг прозы, среди них «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018). Лауреат Международного конкурса имени Фазиля Искандера (2017), поэтической премии имени Анны Ахматовой (2023) и др. Живёт в Подмосковье.

\* \* \*

Окно откроешь и стоишь  
прохладным утром на мансарде;  
здесь всё увиденное — лишь  
обозначения на карте.

Вот синий лес застыл стеной.  
Удобный глазу для обзора,  
коттедж под крышей жестяной  
и кипарисы у забора.

Царит в сарае красота —  
его давно не разгребали;  
громада мусора в кустах  
пропахла белыми грибами.

О, молодые лопухи!  
А если вы крылатый слепок  
рожденья четырёх стихий  
от близости земли и неба?

Высоковольтного столба  
видна верхушка за рекою,  
и проявляется судьба  
во всём, написанном рукою.

\* \* \*

Иду по вечерней аллее неслышно,  
и, кажется, вечность ещё впереди.  
Как жаль, что в июне московские крыши  
вторую неделю полощут дожди.

Купила жакет для прохладного лета,  
и буду по свету носить его впредь  
туда и обратно, ведь нужно зачем-то  
родиться, пожить, а потом умереть.

Дождями расчерчены как под линейку  
прохладного утра сырые листья,  
крылатая липа легла на скамейку,  
и скомканный ветер от влаги остыл.

Планету трясёт от военной угрозы,  
урановый гриб отразился в пруду,  
на лацкан жакета пришью себе розу  
и дальше по тёмной аллее пойду.

\* \* \*

На тротуаре брошенная тень  
портал в стихотворение открыла —  
какой был день! Какой хороший день —  
неспешный, желтоватый и унылый.

Вливалась осень жидким серебром  
в протянутые ветви, и едва ли  
Адам и Ева сломанным ребром  
создателя природы задевали —

он в шляпе островерхой, смоляной  
стоял поодаль сумрачного сада,  
поддерживал цветное кимоно,  
в асфальт вбивая гвозди листопада.

И эхом отзывался этот звон,  
и превращался в воду твёрдый битум,

и вся планета — синий электрон —  
неслась на непривычную орбиту,

где птицы, оторвавшись от земли,  
смотрели вниз, как в зеркало кривое,  
и видели ночные корабли,  
вплывающие в небо грозное.

Чуть ниже, в бесконечном колесе,  
созвездия случившихся поэтов  
кружили под «Элегию» Массне  
в водовороте мусорных пакетов,

и я стояла там, на самом дне,  
подняв глаза, кому-то говорила:  
о сколько света в этом сером дне,  
протяжном, желтоватом и унылом.

\* \* \*

Из мороси обыденной возник  
и удалился в землю под осиной —  
вчера ещё мой квантовый двойник  
бежал по лужам в серых мокалинах,

и вот теперь в витринных зеркалах  
с натянутой улыбкой манекена  
стоит, а рядом в тёплых свитерах  
другие возникают постепенно.

Их восемнадцать, или двадцать пять —  
как я могла так густо проявиться,  
да и с какой одеждой сочетать  
спесивые, задумчивые лица.

Весь горизонт в электрофонарях,  
в светящихся округлых полусферах;  
я по асфальту двигаюсь впотьмах  
и принимаю сполохи на веру.

Разыскиваю, душу теребя,  
в летучих переходниках астрала,  
ту, самую хорошую, себя,  
которую случайно потеряла.

Припоминая мягкие черты,  
желаю, чтоб она меня простила,  
хватило бы ума и доброты,  
надежды и терпения хватило б.

Артём Ряцев

## Шерсть

Повесть

Суслик оттянул резинку трусов и посмотрел туда. Смотреть туда было страшно. Там никогда не было волос. Ну, *там*. Не росли — и Суслика это вполне устраивало. До недавнего времени Суслик даже и не подозревал, что они должны там появиться. А теперь вот — да ещё и почему-то кудрявые, хотя на голове они у него сроду были гладкие.

Узнал Суслик, что *там* должны появиться волосы сразу, как записался в бассейн, после первого же занятия. Он пошёл вместе со всеми такими же совершенно лысыми мальчиками в душевую и увидел двух мужиков. Мужиков не мужиков — парней, хотя рядом с Сусликом эти парни были, конечно, самыми настоящими мужиками. Они стояли в одном душе и, разговаривая о чём-то, обильно намыливались. Вид этих парней подействовал на всех мальчиков, не только на Суслика, потому что парни эти были волосаты, и не просто волосаты, а как-то особенно замечательно волосаты. Не только *там*, а ещё и на животах у них росли волосы. И даже на груди, пусть и не так густо.

С одной стороны, зрелище ободряло. Если судить по причиндалам этих парней, хозяйство Суслика тоже должно будет ещё подрасти — это неплохо, это очень даже хорошо, это Суслику понравилось. С другой же стороны, — стало понятно, что расплачиваться за такие изменения придётся волосами в самом ненатуральном для них месте.

Суслик ещё раз заглянул под резинку трусов и решил, что жить так дальше решительно невозможно, но вот как избавиться от незваных волос, он пока не смог придумать.

В коридоре зазвонил телефон. Суслик отпустил резинку, и она, громко хлястнув по голому животу, скрыла от белого света его позор.

— Суслик? Суслик? — это звонил Димка-невидимка. — Суслик!

---

*Ряцев Артём Владимирович* родился в городе Рыбинске Ярославской области в 1981 году. Учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Работает в сфере интернет-технологий. Автор романа «Думки», нескольких повестей и рассказов. Печатался в журнале «Нева». С 2014 года живёт в Праге.

— Да я это, я, — проворчал Суслик в трубку. — Чего звонишь?

— Спускайся во двор, резко! — Невидимка был страшно возбуждён.

— Чего там? — спросил Суслик. — Что за спешка?

— Давай пыро, — затараторил Невидимка, — а то всё пропустишь!

— Что пропущу?

— Сява кошку нашёл!

— Кошку? — переспросил Суслик.

— Кошку! — подтвердил Невидимка.

— И чё? Я тебе хоть целую сотню кошек найду в любой момент, — сказал Суслик.

— Эта дохлая! — сообщил Невидимка.

Дохлая кошка меняла положение вещей кардинально, дохлую кошку в любой момент не найдёшь, дохлая кошка, особенно если она уже успела хорошенько разложиться, — большая ценность.

— Я ша, — сказал Суслик и кинул трубку на рычаг.

Суслик натянул штаны и майку, причесал пятернёй волосы, впрыгнул в кеды, схватил с вешалки ключи от квартиры и, хлопнув дверью, побежал по лестнице вниз, даже лифта дожидаться не стал — ногами быстрее.

У подъезда его ждал Невидимка.

— Чего так долго? — спросил он, увидев Суслика.

Суслик ничего не ответил.

— Я вообще-то из-за тебя на две копейки разорился. — Невидимка звонил Суслику из автомата и не забыл сообщить об этом.

— Мог бы и не звонить, Невидимка. Мог бы просто зайти за мной.

Невидимка смущённо почесал за ухом, его маленькую ложь раскрыли. Дело в том, что дома у Невидимки телефона не было (дома у Невидимки вообще почти ничего не было, кроме пьющих родителей, бесчисленных братьев и сестёр и каких-то приبلудных дядь и тёть, то ли родственников, то ли просто маминых и папиных собутыльников), а Димке почему-то очень нравилось звонить, и он звонил по любому случаю. Суслик хорошо знал: чтоб позвонить по автомату лишний раз, Димка самый последней на всём белом свете двухкопеечной монетки не пожалеет. А Невидимка почему-то очень стыдился своей страсти к телефонам и каждый раз выдумывал глупые предлоги, оправдывающие его звонок.

— Странный ты парень, Невидимка, — сказал Суслик, как бы извиняясь за то, что так бестактно уличил Димку в его безобидном вранье, и потрепал Невидимку по голове.

— Сам ты странный, — огрызнулся Невидимка и оправил волосы растопыренной пятернёй.

Невидимкой Димку обозвал Сява — он вечно всем придумывал клички. Сява не отличался каким-то особо развитым чувством и раздавал клички за просто так, придумывая к именам дурацкие рифмы или просто коверкая их на все возможные и невозможные лады. Так, например, и Суслик стал Сусликом с Сявиной подачи, хотя на суслика был похож сам Сява, а Суслик — ничуть.

Получилось это так. Раньше у Суслика была кличка Исус. Она прилипла к нему после той рекламы на местном канале, где Суслика обмотали белой простынёй, положили ему в одну руку стеклянный шар, а другую сказали поднять, скрестить два пальца, указательный и тот, что рядом, а остальные сложить в ладонь. Ещё режиссёр этой рекламы долго мучил тогда Суслика, заставляя глядеть в камеру каким-то, как он выразился, особенным взглядом, и чтоб добиться этого «особенного взгляда» от Суслика, не пожалел ни плёнки, ни времени. Когда вышла эта реклама и все её, конечно, увидели — страшный позор! — к Суслику пристала кличка Исус с одним «и», просто потому, что никто не знал, как надо правильно. А Сява принялся коверкать эту кличку, каждый раз обращаясь к Суслику новым именем: Исуся, Суся, Исуслик и тому подобное. В результате всех этих переделок из Исуса получился Суслик. Эта-то кличка и закрепилась сама собой.

А вот с Димкой у Сявы вышло метко — в самое яблочко. Димка и, действительно, был для всех, кроме Суслика, настоящим невидимкой, его почему-то никто не замечал. Невидимка всегда крутился где-то рядом с дворовой компанией ребят, но не был её частью, ни с кем, кроме Суслика, не дружил, и никто, кроме Суслика, не выражал желания дружить с ним: такой он, Димка, — невидимка. Насчёт этой удачной клички Суслик решил, что тут, наверное, особый закон есть у природы, вроде того, что если долго-долго говорить что-нибудь, пусть даже самую глупую белиберду, то в конце концов можно случайно и что-то умное выболтнуть.

— Так где кошка? — спросил Суслик.

— Точно, кошка! — ожил Димка. — Все уже собрались за трансформатором, нас только не хватает.

— Тогда пошли, — сказал Суслик.

Невидимка не соврал, за трансформаторной будкой мальчишки стояли в кружок и что-то наперебой обсуждали.

Весь двор был в сборе. Серёга Панков по кличке Сыроежкин. Олег Жданов со своей знаменитой гипсовой ногой болтался между двух деревянных костылей. Тёмка Брюс Ли, получивший свою кличку за майку с портретом Брюса Ли — предмет его особой гордости и всеобщей мальчишеской зависти, и целую подборку вырезок из «Пионерской правды» про этого актёра. Дрался Тёмка Брюс Ли отчаянней даже, чем настоящий Брюс Ли, лихо бил руками и махал ногами. Всегда во всех драках он снимал свою драгоценную майку, складывал аккуратно и убирал в задний карман брюк, чтоб не дай бог не порвалась. Его выпяченная колесом костлявая грудь в сочетании с фирменным боевым кличем «ки-я-я!» сеяли среди врагов панику, и они спешили спастись от Тёмки бегством, правда, предварительно хорошенько Тёмку отдубасив. Ещё тут был Ромка Штангенциркуль (уменьшительное — Штанга), прозванный Сявой Штангенциркулем совершенно непонятно почему. Ещё один Ромка — Ромка Гагарин по кличке Юрка. Все считали жуткой несправедливостью, что человека с такой выдающейся фамилией называли каким-то Ромкой, и мальчишки эту несправедливость исправили. Жэка Геркулес, который казался Суслику человеком совершенно феноменальным. Он, впрочем, и всем казался человеком совершенно

феноменальным, а может, и в самом деле был таким. Геркулес стоял, возвышаясь на голову над остальными, и чесал пузо: у него, у Геркулеса, была такая привычка думать. Володька Ильин — крутой парень без клички. Крутым его делала бабушка — директор кинотеатра «Космос», куда Володька мог проводить кого угодно на какой угодно сеанс, кроме фильмов, которые не предназначены для детей, но и на такие фильмы ему иногда удавалось пробраться сотоварищи, так что, наверное, не только бабушка-директор делала его крутым. Тоший Лёша Кощей, жирный Витя по прозвищу Пузырь, Костя, естественно, Иночкин и бесчисленное множество Саш: Сашка, Саша-Шурик, просто Саша и так далее, из которых выделялся один только — Александр («Я ещё раз повторяю, меня называть только полным именем!» — «А иначе чё?» — «А иначе по соплям!» — пары раз по соплям хватило, чтоб Александр навечно остался Александром и больше никем). И ещё много-много других мальчишек было здесь.

Предводительствовал, конечно же, Сява. Он стоял в центре круга и держал за хвост в отставленной руке дохлую кошку. Кошка была чёрной и совсем ещё свежей.

— Это Манина кошка, — сказал кто-то.

Сява сдвинул свои бесцветные брови:

— Чья? — переспросил он.

— Бабы Мани. Одноглазая, живёт в седьмом доме по Бори Новикова.

Баба Маня из седьмого дома по Бори Новикова, сама того не зная, была среди мальчишек самая настоящая знаменитость, а сделал её знаменитостью Тёмка Брюс Ли.

Тёмка Брюс Ли всегда много болтал. Он, например, рассказывал, что в последнем подъезде седьмого дома по Бори Новикова живут три слепые безглазые старушки. Тёмка честно признавался, что не знает, сёстры они или нет, живут вместе или в разных квартирах, зато он знал точно, что у этих несчастных старушек на троих был только один глаз. Когда какая-нибудь из этих старушек хотела сходить, например, в магазин или посидеть на приподъездной лавочке, она вставляла себе в пустую глазницу глаз и отправлялась по своим делам. Две другие при необходимости поступали так же.

— Врёшь, — обычно говорил кто-нибудь из слушавших Тёмкины рассказы.

— Сам ты врешь! — обязательно обижался тогда Тёмка вполне даже искренне. — Их, конечно, никто никогда не видел вместе, но если присмотреться к каждой по отдельности, вы увидите, что глаз у них один и тот же — чёрно-чёрный, а зрачок в этом глазу — как мутное зеркало.

Тёмка умел так убедительно лить в уши, что никто из его слушателей и не сомневался даже, что видел сам этих трёх старушек, хотя, конечно, в последнем подъезде седьмого дома по Бори Новикова жила только одна одноглазая старушка — баба Маня.

— Давайте мыслить логически! — призывал обычно Тёмка своих слушателей в конце рассказа о трёх старушках. — Во что мы скореей поверим: что в одном подъезде живут три одноглазые старушки с одинаковым цветом глаз или что глаз действительно у них один на троих?

Этим аргументом Тёмка и добивал свою аудиторию. Все, конечно, кивали и соглашались с тем, что поверить в такую аномально плотную концентрацию одноглазых старушек в пределах одного дома и даже одного подъезда никак нельзя, а значит, Тёмкина история есть не что иное, как самая настоящая правда.

— Вот так-то, любезные господа, друзья и товарищи, — заключал тогда Тёмка, — против логики не попрёшь!

Услышав про бабу Маню, Сява скривился.

— С чего бы это она её? — Сяве делиться кошкой с какой-то там бабой Маней совсем не улыбалось.

— С того. Она с ней на лавочке возле подъезда вечно сидит.

Геркулес оторвался от своего пуза и сказал:

— Может, тогда отнести кошку ей?

— Зачем это? — взвизгнул Сява.

— Ну, если она её, то она, наверное, по ней скучает, — предположил Геркулес.

— Кошка моя, — заявил Сява. — Она сдохла, и я её нашёл. Теперь она моя, — повторил Сява зачем-то.

Геркулес тяжело посмотрел на Сяву, но смолчал. Он запустил руку под майку и снова заскрёб пузо.

— Надо решить, что с ней делать, — сообщил Сява собравшимся.

— Давайте сварим, — предложил Штанга.

— Чё? — скривился Сява. — Зачем?

Штанга смешно поправил толстые очки, ткнув указательным пальцем в мостик пластмассовой оправы:

— Она сварится... — начал он, но закончить ему не дал Ромка-Юрка.

— Ты так проголодался? — спросил Юрка и засмеялся своей глупой шутке.

— Дослушай сначала! — Юрке не удалось сбить Штангу. — Она сварится, и можно будет снять её со скелета. Прикиньте, у нас будет настоящий кошачий скелет!

Кто-то от такой находчивости присвистнул даже.

— Да где такую кастрюлю взять?

— У тебя на кухне и сварим, посмотрим, что твоя мамка скажет!

— А её долго, наверное, варить придётся...

— Вонять будет!..

— Суп с котом... перчика, главное, добавить три-четыре горошины, — сказал кто-то.

— И лавровый листик, — предложил кто-то другой.

Отшутившись, мальчишки перешли на серьёзный тон — заспорили. Все тараторили наперебой, предлагая, как будет лучше достать из кошки скелет, и только Жэка Геркулес молчал, раздумчиво начёсывая пузо.

— Разом тихо! — выкрикнул вдруг Тёмка Брюс Ли. Когда все замолчали и усталились на него, продолжил уже обычным голосом: — Мы получим кошачий скелет, и не придётся ничего варить.

Тишину разбил маленький рыжий мальчик со странной кличкой Фенёк, неведь как прибившийся к этой неподходящей ему по возрасту компании:

---

*Елизавета Макаревич*

## Собачьи дни

*Повесть*

### 1

Рыбина охранничьего голоса проплыла через пустой больничный холл:

— Бахилы, девушка.

Кара скинула на пол клетчатый баул, натёрший плечо сквозь джинсовку, натянула бахилы. Снова водрузила сумку на спину и зашаркала напрямую к стойке охранника.

— Здравствуйте. Мне нужно передать вещи в седьмое отделение.

Охранник протянул ей клок бумаги и ручку.

— Пишете фио больного, отделение, палату и кидаете листок в сумку. А сумочку — вот сюда, — он кивнул на металлическую тележку у стены. — Передадим.

Не отрываясь от записки, Кара спросила:

— А Прокофьев здесь?

— Пётр Иванович? — поправил охранник. — Здесь до обеда. Второй этаж, двести семнадцатый.

— Спасибо.

Она поднялась по лестнице. Бежевые стены, белая плитка пола. В коридор сквозь открытые форточки сочился запах нагретой солнцем дубовой листвы. Он сплетался с холодящим запахом лекарств. У Кары чуть закружилась голова.

Она постучала в дверь, дождалась приглушённого «да» и вошла. Прокофьев, дедушкин лечащий, сидел за компьютером. Стёкла очков отражали свечение монитора, и глаз не было видно за синим мерцанием. Кара заметила открытую баночку йогурта и фигурку манящего кота на подоконнике.

— Здравствуйте. Я внучка...

— Я помню, — перебил врач.

---

*Макаревич Елизавета Николаевна* родилась в Одинцово Московской области в 1999 году. Окончила Литинститут им. А.М.Горького. Печаталась в журналах «Новый мир», «Волга», «Москва» и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 3.

Он глянул на неё исподлобья (глаза оказались чуть воспалённые), как недовольный учитель.

— У вас же есть мой номер, — сказал он.

Она раздражённо повела плечом:

— Я привезла вещи. Мне сказали, что вы ещё тут, вот и... — И оборвала себя на полуслове. — Я на минуту. Просто скажите, как он?

Врач со вздохом откинулся на спинку кресла. Кара знала, что для него она — девочка, которая наверняка устроит сцену. Из-за жидких чёрных кос и плотно сжатых обкусанных губ она казалась младше своих двадцати четырёх. Такие же вечно поджатые обкусанные губы были у мамы.

Кара из упрямства решила сохранять непоколебимость.

— Ну смотрите, — с неохотой произнёс врач. — Вы же понимаете, что восемьдесят три — это возраст...

— Говорите как есть, — поторопила она.

И он пожал плечами:

— Есть несколько проблем. Первая — это замедленная регенерация. Даже мелкие порезы и ссадины едва заживают. У него все ноги в язвах, причём существенных. В будущем они разрастутся, и решение будет только одно — ампутация. Процесс несколько замедлится, если он станет меньше двигаться. И тут мы переходим ко второй проблеме.

Кара закусила щёки изнутри.

— Вторая проблема, — продолжил врач, — это ХОБЛ. Если он не будет двигаться, слизь быстро заполнит лёгкие, и он попросту задохнётся. Понимаете, в чём дилемма? Чтобы дышать, ему нужно много двигаться. Если он будет много двигаться, язвы разрастутся и ноги придётся ампутировать. После ампутации он не сможет двигаться, и лёгкие заполнятся слизью.

— То есть в любом случае...

Врач выжидающе взглянул на Кару. И вдруг, смягчившись, произнёс:

— Он в сознании. Позвоните ему сегодня.

...К тому времени, как Кара спустилась в метро, в мессенджере висело непрочитанное сообщение от Леры: «Ты как?»

Кара бессмысленно уставилась в экран. Наконец, с трудом, медленно, будто вспоминая слова, набрала: «У нас есть два варианта: плохой и ужасный. Плохой — он умрёт в ближайшие дни».

И стоило Каре написать это, как реальность происходящего ударила в лицо. И от этой реальности нос и щёки сделались мокрыми.

Когда Кара была маленькой и плакала (а плакала она часто), дедушка называл её крокодилом. И теперь Кара крокодильничала, стоя у дверей вагона. Она натянула на голову капюшон и закрыла ладонью лицо, свободной рукой продолжая печатать.

«Я и не заметила, — набирала она, — что он так постарел. Я же постоянно звонила, он говорил, что всё нормально. Хвастался, что не теряет вещи и не забывает про газ. На дачу недавно ездил. Он так носится с этой дачей. А я ничего не видела!»

Лере потребовалось время, чтобы ответить. Кара знала, что прямо сейчас сестра в растерянности смотрит в экран, не способная подобрать слов. Что в эту минуту она потрясена, но ещё не подавлена, — потому что пока не осознала до конца.

«Ты не виновата, — наконец написала Лера. — Дедушка ненавидел жаловаться».

А Кара всё плакала на глазах у пассажиров метро — оплакивала пока ещё живого деда.

Через день его перевели в реанимацию. А ещё днём позже ей позвонили: — Карина Александровна? Примите наши соболезнования...

## 2

Аватарка с котом подсветилась зелёным:

— Окей, Лёш, тогда с ошибками разобрались. Исправь к следующему созвону. Теперь Карина... ну то есть Кара, Кара. Что у тебя по твоим кнопкам?

Кара с неохотой отвела взгляд от новостной ленты и отложила телефон. В разгар рабочего созвона она читала о людях, наводнениях и беспилотниках, влетающих в жилые дома.

Захотелось опустить крышку ноутбука. Вместо этого Кара включила микрофон:

— Мои кнопки в порядке. На днях обновили меню, скоро буду тестить. Планирую переписать уведы, чтобы не занимали весь экран.

— Ага, отлично, — ответил кот, то есть Миша, тимлид. — Смотри, что ещё надо... Нам бы количественный тест провести. Сможешь привлечь людей и собрать фидбек? А то нам-то всё понятно, а юзерам, может, и нет.

— Я попробую.

Кара уставилась на окно зума. Никто из коллег не включил вебку, так что вместо лиц на экране отображались коты, чёрные кружки, одна девушка в позе лотоса и один призыв освободить политзаключённых.

— Ну ладно, ребят, — со слышимым облегчением объявил Миша, — на сегодня разобрались. В следующий раз устроим брейншторминг. Надо придумать фишки, которые отличат нас от конкурентов. Набросайте идеи — любые, чем больше, тем лучше. А там уже отфильтруем. Всем пока, хорошего рабочего дня.

Конференция завершилась.

Кара вышла из комнаты. Лера, уже в верхней одежде, допивала кофе, стоя посреди кухни.

— Что бьёшь сегодня? — спросила Кара.

— Фрихендим рукав. Так что на ужин закажем что-нибудь вкусненькое.

Лера работала в художественной академии, которую в своё время окончила (и которую по инерции окончила Кара). Там она вела подготовительные курсы для школьников. В свободное время, когда прилетали заказы, била тату. Именно она пару лет назад забила чёрными узорами Карины исполосованные запястья.

Лера залпом допила кофе, широко улыбнулась:

— В зубах ничего не застряло? Нет? Супер. Как созвон?

— Да всё как всегда, — отмахнулась Кара. — Давай вместе выйдем. Мне всё равно нужно за таблетками.

У подъезда они разошлись: Лера направилась в сторону метро, Кара свернула к аптеке. Город бил июльским солнцем, дорожной пылью и надрывным смехом подростков. Поморщившись, как от боли, Кара надела выключенные наушники. И звуки отдалились, будто она с головой ушла под воду.

В аптеке протянула в окошко рецепт:

— Труксал, пожалуйста.

— Да, я вас помню.

Фармацевтка не глядя поставила печать «лекарство отпущено» и исчезла во внутренних аптеки. Пока она искала таблетки, Кара оглядывалась по сторонам, косилась на женщину у стеллажа с уходовой косметикой. Ей всё казалось, что та непременно подслушивает, непременно знает, что такое труксал, и думает, мол, что за поколение пошло, все на таблетках, вот в наше время такого не было, в наше время ремнём...

— Можете оплачивать.

Кара вздрогнула. Приложила карту, забрала таблетки с рецептом и, поблагодарив, вышла.

Не доходя до дома, она свернула во двор с детской площадкой, там села на качели. Банка труксала маракасом гремела в шопере. Кара не спала без нейролептиков уже больше года — с дедушкиной смерти. Раз в неделю заправляя таблетницу, она разглядывала маленькие коричневые таблетки и думала о том, чтобы выпить их разом. Она думала о лезвиях, глядя на ленты вен на предплечьях. Она думала о сонной артерии, нарезая помидоры и сыр. Она думала о шаге вперёд, завидев фары поезда. Она думала о шаге вперёд, выходя на балкон покурить.

Она думала об этом, потому что об этом думала мама. У мамы на запястьях были точно такие же шрамы, маму страшно было оставлять на балконе. Мама не перерезала пуповину, и теперь Кара — молекула за молекулой — просачивалась к ней в гроб.

Кара родилась кривым зеркалом.

— Девушка-а! — завyli над ухом. — Дайте ребёнку покачаться!

Громкий оклик спазмом отозвался в мышцах. Кара вскинула голову. Над ней склонилось сердитое женское лицо. Рядом стоял хмурый мальчик лет четырёх. Кара молча спрыгнула с качелей и зашагала прочь. Ей в спину бросили:

— Нет бы сразу, кричать приходится. Расселись тут...

Вернувшись домой, Кара с чашкой кофе, записной книжкой и телефоном устроилась на диване. Она кликнула на иконку «Медитация: путь к себе». На экране развернулось бледно-зелёное окно с виньеткой из листьев папоротника. Фон был сгенерирован иишницей и потому получился стерильно-красивым. Миша считал, что такие картинки — то, что нужно для ЦА.

На экране высветилась надпись: «Привет. Время вернуться к себе». Кара сделала в блокноте пометку «окно загрузки». Ей не нравился этот лозунг, хотя другие: «время заземлиться», «время побыть наедине с собой», — нравились

ещё меньше. Сколько вариантов Кара ни перебирала, все казались безвкусными и банальными.

Она переключилась на ChatGPT, запромтила «приветственный текст в приложение для медитации». Чат ответил: «Мы рады видеть вас здесь, на пути к гармонии. Наша цель — помочь вам найти время для себя, расслабиться и восстановить связь с внутренним я». Кара закусила щёки и вернулась к «Медитации».

Пока начинку приложения составлял стандартный набор: сессии разной продолжительности, настраиваемая фоновая музыка, дневник практик с бесполезными медальками за три, семь, двадцать занятий.

Кара принялась щёлкать ручкой. Всплывающие советы, напоминания о практиках. Аффирмации? Динамическая медитация? Практики с подсказками: «сосредоточьтесь на ощущениях в теле», «направьте дыхание в диафрагму»... Банально, банально — на следующем брейншторминге ребята предложат всё то же самое.

Кара снова открыла чат:

«Что добавить в приложение для медитации?»

«GPT обрабатывает ваш запрос. Пожалуйста, подождите немного... Персонализированные рекомендации, видеоуроки, интерактивные задания, сообщество пользователей...»

Кара выдохнула:

— Как будем оклад делить?

Она стала UX-копирайтеркой только потому, что её резюме приняли: оценили высокую грамотность и корочку по совершенно другой специальности. Вообще-то она никогда не увлекалась ни разработкой приложений, ни медитацией. С детства думала, что будет художницей. Но это, наверное, глупая мечта.

Кара свернула все окна и зашла в соцсетку. Первым постом в ленте высветилась фотография крохотной красной ручки в браслете с биркой. Подпись: «Василёк на месте». Кара в недоумении разглядывала сморщенные пальчики. Снимок выложила Настя — бывшая однокурсница и по совместительству бывшая подруга. Они прекратили общение по Кариной вине. Точнее, Кара просто писала всё реже, а Настя — всё реже предпринимала попытки Кару растормошить. Разошлись на чистой, повисшей в воздухе ноте.

Теперь оказалось, что в мире, из которого Кара выскочила, как из закрывающегося вагона метро, как всегда выскакивала из всех миров и отношений, — в этом мире время не останавливалось. В этом мире женщины тянулись к ручкам в больничных бирках, и красные ладошки обхватывали их нежные отёкшие пальцы.

Кара заворожённо разглядывала фотографию, погружённая в собственную ледяную стерильность. Для себя она давно решила, что не согласится на материнство. Потому что стать матерью — значит стать как мама, значит множить сущности и горести.

Кара разглядывала белую плюшевую собачку на застеклённом книжном стеллаже. Она любила эту собачку, потому что та давала повод не смотреть психиатрине в глаза.

— Время ускоряется, — монотонно произнесла она. — Всё вокруг движется быстрее, и только я — с прежней скоростью.

— То есть кажется, будто все всё успевают, а вы — нет? — подсказала психиатриня.

Кара поджала губы. Нет, захотелось сказать ей, что вовсе не так. «Время действительно ускоряется, я чувствую его ход, я чувствую, как поднятый им ветер бьёт мне в лицо».

— Наверное, да, — пробормотала она.

Кара вдруг осознала, что с начала сеанса дёргает нацепленный на серьгу кулон — подаренное дедом сердечко из горного хрусталя. Психиатриня, конечно, тоже это заметила. Кара опасливо глянула в её сторону: ну да, пишет. Пациенту в мягком бежевом кресле спрятаться некуда. Да и зачем прятаться, если сама пришла?

— А ещё я постоянно думаю о маме, — проговорила Кара. — Даже чаще, чем обычно.

— А какого рода эти мысли? — мягко произнесла психиатриня. — Воспоминания? Или, может, как вспышки, флешбеки?.. В моменте переживания появляется ощущение реальности происходящего?

— Не знаю. — Опустив голову, Кара стала расковыривать заусенец. — Просто думаю.

Она взглянула на часы. Время сеанса подошло к концу. Психиатриня, сложив ладони на диафрагме, стала рассказывать, как они скорректируют схему. Она неспешно объясняла, как новый препарат уберёт навязчивые мысли, а увеличенная дозы труксала — кошмарные сны. Кара слушала, не поднимая глаз.

— Так что, если у вас остались вопросы, задавайте, — закончила она.

— Есть один. Как вы думаете, это всё... наследственное?

— Что ж, учитывая историю вашей матери, с большой вероятностью — да.

Палец кольнуло иглой: Кара сорвала заусенец. На его месте тут же вспыхнула алая звёздочка. Кара нервно улыбнулась. Психиатриня мягко добавила:

— Но вы можете не беспокоиться: медикаменты успешно купируют симптомы.

В холле Кара увидела Леру. Та сидела в телефоне на диванчике для гостей, закинув ногу на ногу. Чёлку удерживали вечные солнцезащитные очки, которые Лера носила вместо ободка. Из-под подвёрнутой штанины виднелась тонкая щиколотка, опоясанная серебряным браслетом со звёздочкой.

— А ты что тут делаешь? — окликнула Кара.

Лера вскинула голову и улыбнулась:

— Не ожидала, да? Ты была такая печальная, когда уезжала, что я решила тебя встретить. Может, сходим перекусить?

В носу кольнуло. Кара поджала губы, затем улыбнулась:

— Конечно, поехали. Кто я такая, чтобы отказываться... если ты платишь.

Через пару дней они отмечали Карин день рождения. Лера заказала бенто-торт ручной работы с щенком Снупи, нарисованным кремом. Кара долго смотрела на дёргающийся огонёк, пытаясь сформулировать желание. В конце концов загадала сделать что-нибудь, за что не будет стыдно.

А неделей позже они с Лерой сидели на той же кухне со стаканами гранатового вина. Лера смотрела перед собой, собираясь с мыслями. Каждый год она пыталась произнести тост — и каждый год сыпалась.

— Ну, — сдавленно проговорила Лера, — помянем маму.

Кара, не ответив, отпила вина.

После недолгого молчания Лера всё-таки заговорила:

— После её смерти... время так странно идёт, ты заметила? Вроде бы я училка, бью татухи — жизнь продолжается. А вроде бы так и осталась в том дне и сижу в нём, пока остальные движутся куда-то вперёд.

Кара кивнула:

— Мне кажется, со мной больше не произойдёт ничего нового. Только повторение того, что уже было.

Накануне она видела тот же сон, что и все прошлые годы. Кара с мамой стояли на балконе. Мама высматривала кого-то у подъезда, не способная объяснить — кого именно. Раздражённая Кара держалась чуть поодаль. Мамины балконные слезки происходили всё чаще. Всё чаще мама повторяла, что кто-то вот-вот явится за ними. И поначалу Кара пыталась её утешить:

— Ты же дома, мам. Ты в безопасности.

Но мама не сводила глаз с улицы, не моргала, и река на дне её золотисто-зелёных глаз пересыхала.

— Ты нигде не в безопасности, — отвечала она механически. — В том числе дома.

Но в тот день, приходящий к Каре во снах, всё было иначе. Будто ненадолго вернулась прежняя мама. Она глядела на Кару с нежной, горькой улыбкой.

— Скоро тебе исполнится восемнадцать, ты станешь совсем большая. И вы с Лерой будете со всем справляться сами, как настоящие взрослые.

Каре хотелось огрызнуться, мол, им и так давно пришлось стать взрослыми. С тех пор, как мама оставила работу, заперлась дома и от беспокойства перестала спать и есть. Но она промолчала — оглохшая, слепая, злая. Мамины слова она осознала позже, — когда Лера по ту сторону трубки прорыдала, что мама умерла.

Кара сделала большой глоток вина.

— Я, наверное, на дачу съезжу. Хочу посмотреть, что там да как.

Краем глаза она видела, как напряглись Лерины плечи.

— Чего это вдруг?

— Да так, — не поднимая головы, отозвалась Кара. — Просто давно мы там не были. Я вот — курса с первого. А он всё звал...

И правда ведь звал. Дедушка звал их каждое лето. И непременно приезжал сам, хоть давно перестал ухаживать за огородом. Уверял, мол, практику лучше отрисовывать на природе, город никуда не денется. Но Кара придумывала отмазки, управляемая просрочившейся привычкой. Потому что раньше, стоило заикнуться о даче при маме, как та заводилась, со скандалом отказывалась

отпускать дочерей. И когда они всё же уезжали, она названивала каждый вечер. Сама она на дачу не приезжала.

Мама всегда была слишком тревожной, слишком щедрой на «не»: не улыбаться незнакомцам, не ходить в гости к подругам (но звать подруг к себе, даже на ночёвку, можно), не общаться с мальчиками, не встречаться с мальчиками, не открывать курьерам, а лучше вообще не пользоваться доставками, не выходить на улицу после девяти вечера.

Под конец жизни она часто караулила Кару с Лерой у входной двери, когда те собирались на учёбу. Она хватала их за руки и молила не уходить, потому что за порогом их ждёт беда. Она просила не оставлять её в одиночестве, потому что беда уже втекла в квартиру через форточку. Чтобы выйти из дома, им приходилось вырывать руки из её коченевших пальцев. В один из таких дней Кара ударила мать по лицу. Тем же вечером она вспорола лезвием кожу на плече...

— Я не смогу составить тебе компанию, — сказала Лера. — У меня работа.

— Не надо, это моя поездка.

К слову, сон всегда заканчивался одинаково: давясь слезами, Лера кричала, что мама утопилась, спрыгнув в реку с моста.

### 3

Со временем Кара поняла, что болезнь сидела в маме всегда. Она заявляла о себе беспричинными перепадами настроения, беспочвенными страхами и беспочвенными «не»; сквозила намёком в беспокойно поджатых губах и крепкой хватке холодных пальцев. В двенадцать лет Кара догадалась, откуда у матери шрамы на запястьях. Но всё-таки та мама была мамой: нежной, почти эфемерной, украшающей дом свежими цветами (летом — собранными в жидком лесу на окраине города). Задумавшись, она шевелила губами и покачивала головой, будто напевая ей одной слышимую мелодию. Она не могла заснуть, не прижавшись к Руфи — маленькой дворне, которую подобрала, когда Каре было четыре. Кара знала, что мама любит их с Лерой. Знала, даже если не всегда это чувствовала.

Болезнь заговорила в голос после смерти Руфи. Та прожила одиннадцать лет и умерла от рака кишечника. Мама долго не решалась на усыпление и плакала, пока Руфи, уже не способная стоять, содрогалась на пелёнке в попытках испражниться. Когда Руфи не стало, Кара с Лерой испытали облегчение. Собачьи муки — изнуряющая рвота, кровь в кале — наконец прекратились. А мама неделю отказывалась вставать с постели, поднималась только в туалет. Она позвонила в издательство, где работала верстальщицей, и взяла больничный.

На работу так и не вернулась.

Время шло, мама всё меньше ела, в какой-то момент отказалась от твёрдой пищи и соглашалась разве что на манную кашу. Часто она кипятила молоко, растворяла в нём мёд и подолгу цедила сладкую смесь, будто насекомое. От её тела, всегда такого чистого (раньше мама принимала душ каждый день), теперь разило ацетоном. Мучимая голодной бессонницей, она бесцельно плавала

*Александр Поповский*

## Хорошо, что в жизни это было

\* \* \*

Вечность пролетела. Всё срослось —  
Получилось в самом лучшем виде.  
Я в руках держу земную ось,  
Перекрыв дорогу к Антарктиде.

И теперь в окрестностях села  
Снега вдоволь, как при коммунизме.  
Что-то выюга нынче намела,  
Что-то занесло из прошлой жизни.

\* \* \*

Швырнул звено разорванной цепочки  
В проём, да так, что брызнула слюна,  
И раскололась сфера жирной точки  
На полумесяц и на полблина.  
Посыпались со стуком буквы строчек —  
Остался белый лист во всей красе.  
Он помнит всё: и мой корявый почерк,  
И бум прилётов в средней полосе.

\* \* \*

Стало светлее — на небе раздвинули шторы.  
Скоро у шифера высохнет кожный покров.  
Крышу соседнего дома как точку опоры  
Выбрала радуга — яркая арка миров.

---

*Поповский Александр Сергеевич* — поэт. Родился в 1962 году в посёлке Астрахановка Актюбинской области (Казахстан). Окончил Челябинский педагогический университет. Работал электриком, инженером ПТО, метрологом, учителем физкультуры, машинистом, в настоящее время — педагог дополнительного образования. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Дети Ра», «Юность» и др. Автор пяти поэтических сборников. Живёт в посёлке Первомайском Челябинской области.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Банки висят на заборе — притон с пауками  
До понедельника официально закрыт.  
Не торопитесь — не трогайте счастье руками,  
Не раздражайте невидимый метеорит.

\* \* \*

Я выключил счётчик ворон —  
Вниманье теперь на пределе.  
Свет падает ниц с двух сторон,  
Туман притаился в туннеле.

Как будто мелькнул силуэт.  
Быть может, таинственной стаей  
За миг пролетели сто лет —  
Такое раз в жизни бывает.

Величье теряет бетон —  
Трещит под напором растений.  
Остался последний патрон,  
Но он ничего не изменит.

\* \* \*

Снится, что мама жива.  
В муках отец умирает.  
А пауки кружева  
Вяжут на стенах в сарае.

В стойле корова мычит —  
Нет ни воды и ни сена.  
Вмиг улетели грачи —  
Вплоть до седьмого колена.

Я всё пытаюсь сказать,  
Что в жизни было иначе.

Морщится водная гладь  
От радиопередачи —  
Вёдра полны до краёв  
В комнате и на веранде.

Не различить моих слов —  
Тонут в сплошной пропаганде...

Скрипом разбудит кровать —  
Смято в ногах одеяло.  
Может, в том я виноват,  
Что рано мамы не стало?

\* \* \*

Иду и шоркаю галошами —  
К земному притираюсь норову.  
Стихи считаются хорошими,  
Пока им не сломают голову,  
Пуля в пустоту подушками,  
Борясь с проблемами глобальными.  
Так и с любимыми игрушками,  
С детьми, что были гениальными.

\* \* \*

Память сохраняет эпизоды,  
Радую лоскутным одеялом.  
Наслаждаюсь воздухом свободы,  
Чую сердцем — капитал немалый.

И для захолустья случай редкий.  
Надо видеть, как на самом деле  
Морщатся мембраны каждой клетки  
Под копирку в подневольном теле.

Пальцы гнёт египетская сила  
На волнах читательского бума.  
Хорошо, что в жизни это было,  
А не Пушкин просто так придумал.

*Анатолий Батомункуев*

## О чём молчит печальный цвет сараны

*Рассказ*

Я вышел из трамвая, влился в утреннюю суету и направился к вокзалу станции Заудинский. Чтобы попасть туда, надо перейти через виадук. Поднимаясь по протёртым ступеням, вспомнил, как впервые прошёл по нему. Мне тогда было лет шесть. На стыках бетонных плит виадука были щели сантиметра по три, и я, перешагивая через них, закрывал глаза. Внизу проезжали гружённые углём, железом, брёвнами вагоны и бесконечные змеи из разноцветных цистерн. Казалось, наступив на щель, я провалюсь вниз, упаду на один из этих поездов, и он увезёт меня в неизвестность.

Нахлынувшие воспоминания тридцатилетней давности сейчас вызвали только улыбку. Тем не менее я отметил, что снова иду по центру виадука и не смотрю вниз, когда перешагиваю стыки плит. Спустившись, прошёл по перрону вдоль кустов акации. Оторвал стручок, в детстве их называли пикульками, раскрыл его, — не увидев ничего нового, выбросил в урну. Зачем-то оторвал ещё один. Зашёл в кассу, купил билет, и через несколько минут объявили о прибытии электрички.

В предвкушении приятной поездки поднялся в вагон. Светлые стены, мягкие сиденья создавали ощущение уюта. В этот утренний час людей практически не было. Я устроился у окна в левой половине вагона по направлению движения. Это для того, чтобы июльское солнце не слепило, ведь штор в электричках нет. Дорога была в два с лишним часа, поэтому я скачал пару фильмов на телефон. Но смотреть их пока не хотелось. Изменившийся, но узнаваемый вид вокзала, не перебиваемые временем запахи железной дороги, короткие фразы диспетчера, вылетающие из шипящего динамика, погружали в прошлое. В то время, когда и сиденья в вагонах, и рамы вечно не открывающихся окон были деревянными. В то время, когда не было смартфонов, пассажиры читали газеты, играли в карты, а любимым развлечением было разгадывание кроссвордов. В то время, когда автомобилей было мало, а в электричках — многолюдно.

---

*Батомункуев Анатолий Викторович* родился в 1982 году. Окончил Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств. Участник литературных мастерских АСПИР. Живёт в Улан-Удэ. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Поезд дёрнулся и понемногу начал набирать скорость. Пропал из виду вокзал, замелькали знакомые пейзажи. Там, где человеческое присутствие было минимальным, ничего не поменялось. Всё так же до самых гор, что темнели на горизонте, простирались зелёным войлоком поля и редкие рощицы берёз. Вагон плавно покачивался, колёса отбивали односложный ритм, и создавалась та неспешная, созерцательная атмосфера путешествия по железной дороге, что погружает в мысли и воспоминания.

\* \* \*

До первого класса мы жили в городе Улан-Удэ, мама Вика, папа Жаргал и я — Тимурка. Наша съёмная однушка была для меня маленьким, тёплым, уютным мирком. У родителей в городе мало знакомых, поэтому мы редко ходили к кому-нибудь или к нам кто-то приходил, но мне это и не было нужно. Я обожал проводить время со своей маленькой семьёй. Особенно ярко запомнились весенние субботы. Проснувшись, я бежал на кухню, где мама уже стряпала «дырчатые» блины или ароматные булочки, иногда — хрустящие вафли-трубочки. После завтрака мы втроём ходили прогуляться либо в парк, либо в центр города. Я шёл посередине, крепко держась за руки и поочерёдно смотрел снизу вверх то на маму, то на папу. На их молодые улыбающиеся лица на фоне распускающихся деревьев и ясного, пронзительно голубого неба.

Вагон замедляется, я смотрю в противоположное окно. Высоченный металлический забор, верх которого обмотан колючей проволокой. Станция Южлаг, действующая тюрьма, где сидят рецидивисты. Ребёнком, я застал этот забор деревянным, и там работала медсестрой соседка тётя Клава. Однажды мама оставила меня у неё почти на два дня. Это было странно, я никогда до этого не оставался ночевать у чужих людей. Долго не мог уснуть и ждал маму. Вечером второго дня она меня забрала и уже дома сказала, что папа умер. Он работал на стройке и упал с высоты — несчастный случай. Его отвезли в больницу, и мама ждала, когда закончится операция. Но его не спасли. Мне уже исполнилось семь, я собирался пойти в первый класс. Было трудно осознать, что я уже никогда не увижу отца. Мой маленький мир дал трещину, но я ещё не знал её глубины. В тот вечер мы ужинали вдвоём, в полной тишине. Мама сидела напротив, я смотрел на неё и не узнавал. Никогда не видел её такой отрешённой. Она держала в руках кружку и за всё время, пока я ел, не пошевелилась. Она смотрела на меня, но взгляд проходил насквозь, от этого мне приходилось не по себе. После ужина мама уложила меня спать и выключила свет, а я лежал в темноте с открытыми глазами и слышал, как она плачет, закрывшись в туалете. Следующим утром мы уже ехали на электричке в деревню к бабе Зине.

\* \* \*

Зинаида Родионовна, мамина мама, встречала нас у ворот. В полосатом сарафане и широкополой соломенной шляпе. Бабушка была маленькой и худой, поэтому шляпа на ней выглядела просто огромной. Баба Зина жила одна в доме с просторным залом и большой кухней. В ограде бегали куры, пара коз

и лохматый пёс Дружок. За домом зеленел и колосился образцовый огород с вишнями, кустами малины, смородины и облепихи. Мне нравилось гостить у бабушки. Она живёт здесь давно, хотя родилась в соседнем регионе. Тем летом я уже провёл у неё почти два месяца, загорел и набрался сил. Потом мама увезла меня в город, чтобы собраться в школу. Теперь я снова тут. Мама уехала в город вечерней электричкой — закончить дела с похоронами и своей работой. Какое-то время она ездила туда-обратно. Позже она устроится поваром в организацию, которая строила мосты по всему Дальнему Востоку и Сибири. Она уезжала на несколько месяцев, потом приезжала в отпуск. Объяснила, что такая работа называется вахтой. Мама всегда привозила кучу всего интересного, много вкусных штук. Для меня это были самые настоящие праздники. Первые её командировки казались мне мучительно долгими, но со временем я привык.

\* \* \*

На семейном совете решили, что пойду в местную сельскую школу. Вспомнил свою первую в жизни торжественную линейку. Нас выстроили по классам на стадионе, открытой грунтовой площадке с футбольными воротами и турниками. Школьники и их родители приветствовали друг друга, здоровались с учителями, поздравляли с началом учебного года. Обстановка была скорее праздничная, чем торжественная. Мне всё казалось волнительным, я мало кого знал, поэтому крепко держал бабушку за руку и очень рад был увидеть своих товарищей. В нашем классе было девять человек, все из одной деревни. Трое из колхоза, двое с железной дороги и четверо — леспромхозовских. В колхозе жили в основном бурятские семьи, а в леспромхозе и на железке — русские. После линейки мы зашли в одноэтажное деревянное здание школы. Наша учительница Сэсэг Цыреновна провела нас в класс. Мы хотели сесть вместе с моим другом Баиркой, но меня посадили с Долсон. Эта девочка была соседкой, они жили через забор. Летом она одевалась как мальчишка: в шорты и футболку. И вела себя тоже как мальчишка. Мы пасли овец, играли в мяч, догонялки и лазали по деревьям. А в тот день я впервые увидел её в красивой школьной форме. Белые колготки и блузка, чёрная юбка и блестящие сандалии, пышные банты на голове делали Долсон не похожей на себя. Я не сводил глаз с неё, удивляясь, почему не замечал раньше, какая она красивая. Наверное, в этот же день я в неё и влюбился.

В целом, учиться было хорошо. Став чуть постарше, я понял, что мне нравятся гуманитарные дисциплины, а Баирка, наоборот, не любил литературу и русский язык, зато быстрее всех в классе решал примеры и задачи по математике. Он вообще был торопыга. Мелкий, круглоголовый, вечно сопливый. И хотя он был самый маленький в классе, никто с ним не хотел связываться, потому что он никого не боялся и хорошо дрался. Мы с ним нередко попадали в различные ситуации. Долсон же была прилежной ученицей по всем предметам. Поэтому нередко помогала нам. А при необходимости могли вразумить нас, двух бестолковых шалопаев, парой ошутимых тычков.

\* \* \*

Как-то раз, в третьем классе, мы с Баиркой на перемене проходили мимо запасного выхода. На дворе нежно благоухал апрель, и дверь была открыта, чтобы помещение проветривалось. За ней оказалась ещё одна дверь — решётка, сваренная из металлических прутьев, она всегда запиралась на висячий замок, чтобы школьники не лезли куда не следует. Баирка сказал, что такая дверь бесполезна, потому что между прутьев спокойно пройдёт голова, а если она пролезет, то и всё тело тоже. Я сказал, что наверняка их приваривали так, чтобы между ними никто не пролез. Мы поспорили на жвачку. Баирка подошёл к двери и внимательно осмотрел её, чтобы не было острых краёв или ещё чего, обо что можно пораниться. Он, раздвинув большой палец и мизинец, замерил расстояние между прутьями, оно оказалось одинаковым. Взявшись за прутья обеими руками и наклонив голову вперёд, Баирка начал протискиваться. От макушки до ушей всё шло быстро, потом он поднял лицо и с натугой впихнул его между прутьями. Он постарался повернуться так, чтобы видеть меня, и торжествуя объявил, что я проиграл. Совершенно не расстроившись, я признал его победителем. И тут началось самое интересное. Баирка пыхтел, шмыгал носом и вертел головой, но никак не мог вытащить её обратно. Мешали уши. Мы пытались раздвинуть прутья руками, но ничего не получалось. Увидев какую-то возню у двери, к нам начали подходить другие ученики. И поняв, что происходит, хохотали. От стыда уши Баирки покраснели, солнце просвечивало сквозь них, и казалось, что они горячи, как раскалённое железо. Подошла баба Тамара, наша вахтёрша, уборщица и сторожиха. Всплеснув руками, она отправила кого-то за трудовиком. Пришёл Валерий Арсентьевич и перед тем, как помочь, прочитал целую лекцию о том, куда и что совать не следует. Затем он разогнул прутья и освободил моего друга. После школы мы втроём шли домой, Баирка жаловался, что уши его болят и, скорее всего, отвалятся. Я ответил, что если они всё же отвалятся, то он сможет приклеить их обратно на жвачку и торжественно вручил ему законный выигрыш.

\* \* \*

Летом бабушка делала настойку на черёмухе или вишне. Однажды оставшийся от настойки жмых она вылила под ранетку, вроде удобрения. А Дружок из любопытства съел его и улёгся греться на солнышке. Часов в одиннадцать пришёл сосед дядя Пурбо, он иногда заходил к нам с похмелья «подлечиться» бабушкиной настойкой. Это был папа Долсон, крупный, неповоротливый добряк. В дверной проём он входил всегда немного боком, чтобы не «обтирать косяки». Большой и немногословный, он казался полной противоположностью своей жене тёте Аяны. Она хоть и была обычного телосложения, но рядом с мужем выглядела маленькой, как девочка. Спокойная характером, приветливая взглядом. С ней всегда было интересно поговорить. Дружок услышал, что кто-то пришёл, вскочил и побежал к калитке. Он пару раз гавкнул, а увидев соседа, замолчал. Пурбо прошёл к бане, уселся

---

*Виктория Сорокина*

## Случилась жизнь

*Два рассказа*

### *Баба Дуся*

Брат был прав, когда сказал, что будем жить долго. Потом отравился, не водкой, а жизнью, и от горечи вздёрнулся.

Пуще всех горевала мать, отец держался, а моя жена говорила: «Вот видишь. Вот видишь». А я не видел.

С братом мы вели торговлю. Он закупал в городе шмотки, привозил в село, а я продавал с автолавки. Брат был младше и, готовый сорваться в вечный полёт, верил в случай, верил в чудо. Жена в чудо не верила и ушла от брата.

Он всучил мне деньги и отправил в город, сам остался в горячке и температуре греть постель.

Деньги были потрёпаны, невесело глядели пустыми нулями, а город обдавал смрадом, и копошились серые тени, грузные, пауками тащились баулы, звенели цыгане, навязывали счастливую судьбу.

— Далеко не отходи.

Я притянул жену к себе, надвинул на лоб шапку. Дома хрустела зима, здесь прошибал пот.

— Сколько раз тебе говорила, не надевай эту шапку, — голос её потонул в толкучке, и я знал, что она не досказала: «Позорище». Сквозь слово сквозил север.

В зеркале я был простоват и хмур, на худых плечах болталась куртка-кожанка, скулы, подбородок и нос кто-то грубо тесал мне из камня. Говорил я редко, словно хранил слова для чего-то важного, как ледостав по весне или дождь после засухи. Глаза были добрыми, только жена этого не замечала. Она шла среди шелеста. Я присматривал за ней, месил ботинками грязь.

---

*Сорокина Виктория Аркадьевна* родилась в 1995 году в Курганской области, окончила филологический факультет Курганского государственного университета. Печаталась в журналах, альманахах и коллективных сборниках. Автор книги рассказов «Нить». Живёт в селе Каминском Курганской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Целлофаном обвисали дождевые облака. Напевали кассетники о немыслимом счастье, делали смерть горько-весёлой, пахло дешёвым кофе, разбухшим от влаги картоном, сосисками в тесте. В машине оставался термос и беляши. Было безнадёжно, но стало теплей.

Товар закупали у Нели. Она трещала замками, вскрывала баулы, потрошила их холодные бока, бросала на прилавок цветные и запашистые шмотки. Жена мяла, перебирала, глядела на целлофановое небо сквозь ткань, и вместо солнца выходили цветы.

— Нель, давай ещё вот эти, — отбросила в сторону безразмерные фланелевые халаты, про которые брат шутил: «Чехол для кировца».

— Пойдём, — жена подошла близко, чтобы в гуле слова пробрались ко мне.

— Куда?

— Как куда? — Поглядела по сторонам, словно думала ухватить крупный кусок целлофанового неба и ткань с цветком вместо солнца.

— Пошли, — очнулся я, понимая, что небо своровано до нас.

За металлом контейнеров жались друг к другу дома, с шифера катилась капель, протестуя против зимы. Гремели пути, стонали рельсы, тащился усталый поезд, волок тяжкий груз, гася людской гул. От фанерной коробки несло смрадом. Я ждал жену, разглядывал ржавые пороги нив и «девяток», волгу набили баулами, она наполнилась синей клеткой, вытаращила глаза и вздулась, как больная вена.

Дверь распахнулась, выпустила смрад, жена, прижатая сырым небом, выползла на воздух и замерла.

— Всё? — я шагнул, провалился в снежно-грязное месиво.

— Я деньги выронила, — жена заверещала, я сморщился.

— Куда выронила?

— В туалет, — закрыв лицо ладонями, она о чём-то говорила, — от жара в голове я не слышал.

— Как в туалет? Они где у тебя были? — я дёрнул жену за рукав, ждал, что выпадут на снег и грязь нули, которые мы унесём Неле.

— В штанах. Там, — жена замерла, боясь, что услышат деревья и целлофановое небо.

— Где «там»? В трусах, что ли?

Она быстро закивала головой и захлебнулась. Перед глазами маячил вихор её пшеничных волос.

— Дура... дура, — вывалил я и заглянул в смрад, в котором потонули невесёлые нули.

Жена плакала, я просил Нелю дать товар в долг. Неля, переступая на обтянутых в лосины ногах, мотала головой.

Домой возвращались пустые, с шелестом целлофанового неба.

— Не переживай, брат, — успокаивал я. — Мороз установится, я с осетином договорюсь. Он скотину примет, и будут деньги.

Брат улыбался, как будто был в чём-то виноват. В моё слово, как в чудо, он не верил.

Через месяц я получил от осетина деньги за бычка. Брат не дождался.

Мать пришла весной, сбила с бурок снег и растянула слова:

— Сходил бы к бабе Дусе. Жалуется, что Паши полгода не было.

Баба Дуся была слепа и глуха. Ей ввали.

— Пусть хоть со спокойной душой умрёт, — словно благословляя, мать отправляла меня в комнату бабы Дуси.

Та лежала белая, чуть живая, перебирала в пальцах мятый платок. Боясь, что баба Дуся спросит вместо меня брата, я глотал слюну.

— Паша пришёл к тебе, — прокричала мать.

Баба Дуся пошевелила слипшимися губами и пошарила рукой по простыне.

— Руку подай ей, — мать ушла, подводя меня к черте.

Перетирая в пальцах мои ладони, Баба Дуся нащупывала знакомую жилку, молчала. Про обман она знала, но верить отказывалась, чтобы дочь не горевала и хоронила её с миром.

— Руки-то у тебя какие стали, Павлуша, — заговорила она, — как у доброго мужика. Жил сколь. А ладони-то гру-убые.

От слов оставался бессмысленный звук, он бился в потолок — разбившись, падал под ноги. Я отнял руку от сухой бескровной ладони, погладил бабу Дусю по редким алым волосам, за себя и за брата отпуская её боль и горе.

Баба Дуся умерла в субботу. Умерла и узнала правду, или поверила в правду и умерла.

### *Любовь получилась*

На самом деле кино Анята не любила. И цветы, и конфеты не любила. Только музыку и кружение. Её музыки я не понимал.

Аняту провожал гул, но в кино она ходила со мной. Гул повисал над головой, Аняту я мог отпустить и вновь отыскать и знал, что из безверия рождается вера и от веры бывает безверие. Аняту я не упрекал и шёл следом по весне и по лету. Зимой и осенью, как и конфеты, она не любила.

Барабанили по мячу и беспокоили реку, больше ничего у нас не было. Самое откровенное — Анятины глаза, запястье с тонкой синей венкой и круглое, как припухшее, колено, к которому лип песок. Однажды Анята улыбнулась, я ушёл, не узнавая её лица и губ.

Я дружил с Аликом. Алик приезжал на лето из города. В этот июнь он вытянулся в струнку, наполнился жилами, на шее, под кожей гусака бродил кадык, крошил слова, огрублял. Я поглядел на свои руки и жилы, обрадовался Алику.

Он слушал заковыристый рок, в котором я не понимал ни черта. Алик, как вино, потягивал мою непонятливость. Вместе с Аликом рок слушала Анята, но я знал, что в роке она, как и я, — твёрдая, недозрелая, сплошная околесица. Но Анята слушала для Алика, а он притворялся, что слушает для себя.

Год назад, и два, и три мы с Аликом ходили на рыбалку, брали с собой Аняту. Вчера я Аняту не позвал, её позвал Алик.

Анюта держала гибкое удилище, и рука её была тонкой-тонкой, и ушко, как в книгах, просвечивало на утреннем солнце. И было невыносимо.

После рыбалки Алик попросил в долг денег и мой мотоцикл, я отдал, wygrеб из карманов всего себя и пошёл в кино.

Три раза с затяжным перерывом я ударил в сосновую тёплую стену. Сначала светлые, словно сворованные у луны, появились ноги с ямочками под коленями. Анюта ухнулась на землю, тяжело сопя. Я видел её блее белого бёдра, сбившийся подол платья, и пахло мятно, терпко, ночью.

Я молчал. Алик говорил, и слова получались массивными, гулками, катились по воздуху, как мраморные шары, и сам Алик, огрубев, крепко сжимал ребро сосновой доски. Алик грубил по-мужски, Анюта была красива. Где красота — там грубость.

Смеясь, Анюта уселась к Алику на колени. Я смёл песочную пыль с лавочки, поймал в ладонь занозу и замер от чувства. В плоти пульсировала боль.

Расходились молча, и только Анюта что-то беззвучно шептала, шевелила губами, белыми от луны — всю ночь целовала её холодное небесное тело. И ничего нежнее не было на свете.

Алик не показывался весь день. Забежал ко мне вечером, на шее алела ссадина. Теперь Алик брился, на подбородке под кожей синела щетина, словно Алик макнул его в сажу. Втроём пошли к пожарной вышке. Анюта веселилась.

— Давайте наверх, к ветерку, — Алик креп вместе с голосом, раскачивался на упругих ногах, готовый мчаться по ветру.

— Я высоты боюсь, — и Анюта отступила, как по краю, прошла по горечи полыни.

Я слышал хруст обожжённых стеблей.

— Давай по боковинам, — Алик вытянулся пружиной, вот-вот и он бы воткнулся в небо черноволосой головой.

— Давай. — Я первым шагнул к пролёту.

Железные «иксы» громоздились друг на друга, ползли к небу, нагружали землю. Железо холодило ладонь, пахло ржаво, словно и в ладони кровь, и в носу кровь. Ближе к высоте ветер ушибал затылок. Я видел Алика и его тело, как струну, между нами ползли железные грани, углы, нити, ступени, в пустотелой вышке гулял воздух. Земля закончилась, вместе с ней пропала Анюта. Мелькали быстрые руки, в небе висла деревянная голова вышки с сине-лунными пролётами окон. Сквозь стекло по вечерам сочилось красное солнце, лучом, как лазером, резало землю. Маяк из железа и воздуха качался, скрипел, мечтал сорваться с тугих железных тросов и рухнуть на степь.

Мы остановились под деревянной коробкой, в которой днями дремал стареющий и скрипучий, как и вышка, сосед.

— Давай на крышу, — проговорил Алик, но вместо него, казалось, кричит ветер.

— Давай. — Я запрыгнул в полое тело вышки и успокоился между железных граней.

Взглянул вниз. Плыла ночь, на ней, срезав упругость тросов, плыла вышка. Не различая меня и Алика, Анюта смотрела на деревянный куб. Она была

молочной, тонула в сумерках, и только губы, сухие и тусклые, шевелились, и было слышно, как Аня дышит. Её дыхание летело суховеем, ласкало мои щёки, и пахло от него молоком.

В коробке было душно, пыльно, песочно, как в старом дереве. Возле окна стоял стул, на столе белели окурки.

Была луна, и было небо. Я сел на узкий подоконник, набрал тепла в грудь, оно, распалившись, прожигало лёгкие. Хватая руками пыльную шершавую крышу, я поднимался на гулкое железо. Уселся на вершину огромной спички, которая тлела, грела небо, чадила дымкой в дожди.

— Алик, — позвал.

Гроном отвечали ступени. Вышка дрогнула, застонала, побрела великаном, мотая деревянной пустой головой, рвалось с оси железное тело, в котором копился дух полыни и соли. В вышке болтался воздух, во мне — горячий желудок, от тошноты я закрыл глаза и о чём-то шептал себе или ночи.

— Хватит! Он же упадёт, — с земли или с неба кричала Аня, ей смеялись в ответ.

Вышка замерла, тяжело выдохнула, только глухо застонал уставший трос. На глиняных ногах я сполз с крыши, затёк в окно и упал на стул.

Земля встретила твёрдостью, сухим выпуклым лбом чувствовала мою дрожь.

— С возвращение на землю, — Алик хлопнул меня по плечу. Его тонкие губы неумело сдерживали улыбку.

— Давно? — Алика я оттолкнул.

— Что «давно»?

— Сволочью стал.

Рядом ещё смеялись, но вяло, а потом позабыли о шутке и разошлись. Аня сердилась на Алика, но недолго. Её глаза блестели от слёз или от луны. Я хотел, чтобы она плакала, тогда Аня можно бы жалеть. Две луны качались в её зрачках. Аня ушла одна, унесла свет.

Алик что-то рассказывал для луны, чтобы погасить её глаз с бельмом и мою обиду. Ушёл. Я брёл и всё болтался на вершине спички, ноги увязали в вате. И болтаться бы так все оставшиеся дни.

Аня нравилась Алику и приезжему чеченцу из строительной бригады. Чтобы уберечь дочь, мать закрыла ставнями окно в её комнате.

— Сходи до Ани, — просил Алик.

Я видел в его карманах конфеты и бутылку портвейна.

— Её не отпустят.

— Сходи, а? — и Алик подмигнул.

Глаз его стал чёрным, налился портвейном и блестел леденцом, которые Аня не любила.

Аня я не видел, а мать замахала руками, отгоняя меня, воздух и лето, как проклятие.

Алик ждал, грыз леденец.

— Я же говорил, не пустят её.

— Сходи ещё раз, а?

— А сам что?

— Ты местный.

— Не пойду.

Алик остался на дороге громко хрустеть леденцом.

У тишины бывает цвет. Летом она белая.

Вдоль дороги мерились высотой тополя, от них отрывались тени, густели, тянулись, и были они живы, говорили песчаным шёпотом. Но шаг мой был невесом. Чей-то бег позади, и только звук, что покинул тело, и глухие удары в упругий мяч или в плотное, живое.

Я слушал, накрываясь тенью, как от греха и боли, мял в пальцах до липкой древесной крови тополёвую ладонь.

Алик пришёл утром. Я его не узнал: рот опух, опухли уши, веки, и нос, как раскисшая слива, расплывался по лицу.

Он протянул занятые деньги, собрался в кулак и ушёл.

— Дружили-дружили, а любовь получилась, — сказала мать. Расставляя на столе чашки, она выглядела Алика в окно. — Чтоб к Аньке больше не ходил. А то такой же будешь, — и мотнула головой.

За рамой начинал желтеть и зеленеть день.

Целенький и невредименький, я завидовал Алику с его распухшим лицом.

Алик исчез. Через время появилась Анюта.

— Пойдём в кино, — говорила она и боялась.

— Не хочу.

Она заплакала, совсем по-детски, оттопырив нижнюю губу, блестящую от слюны, подняла подол платья и растёрла лицо. И белели округлые колени, с которых сошли ссадины. Она не таилась по старой привычке. Я отвернулся и вспомнил, что раньше Анюта сидела, уложив на ладони подбородок, острые локти впились в колени, и была она как комочек, который хотелось сжать, после раскрыть ладонь — а там пусто, и только свет, нежность, пульс.

— Я так. Дура совсем стала, — и пошла на лунных тяжёлых ногах.

Больше Алик не приехал. Анюта пропала и снова возникла. Я увидел её утром. Анюта стояла с матерью на остановке, мать смотрела перед собой, как в стену, Анюта — на верхушки клёнов, жалась боком к железу. Пыхтя, подлетел автобус.

Однажды я услышал многоголосие: «Анька — пузатая». Слово это, перелитое, перепробованное, из сотни чужих рук, я никак не лепил к Анюте. И вот увидел её и надутый живот под пальто. Лето оборвалось холодом, с Анютой случилась жизнь.

Родился мальчик, и соседские дети передавали его по рукам. Я стоял в стороне, Анюта с улыбкой вручила ребёнка, и в руки легла тяжесть, как от школьного холостого автомата, только тёплая, сладко пахнущая, мягкая. Теплота постоянно ёрзала, а я всё боялся выпустить её из рук, крепко сжимал пальцы под детскими подмышками. Анюта насупилась:

— Как своих-то держать будешь? У тебя что, тиски?

Я посмотрел на руки, на мозолях оставались тепло и сладость. О своих детях я не думал. Я мог бы стать отцом через века.

Иван Макаров

## Детский сад

\* \* \*

И мысли воздушны, и бедные души крылаты.  
Но страшно, вдруг всё это рухнет в тартары:  
Деревья в побелке, как граждане в белых халатах...

— Не бойся, товарищ, они не всегда санитары.

И страсти утихли. Ненужные, злые, чужие.  
Но страшно, а вдруг это признак старенья?  
И жизнь пролетает в каком-то нештатном режиме...

— Не бойся, товарищ, всё это мгновенья, мгновенья.

## Дено

...И луна, что над нами плывёт,  
И разлуки часы роковые...  
И с тревогой в душе: Кто идёт? —  
Вопрошают в ночи часовые.

И в печальном мерцании льда,  
И в сплошном ожидании чуда...  
Вы откуда, зачем и куда?  
Мы оттуда, оттуда, оттуда...

Мы из бездны сомненья и тьмы,  
Из тоски беззаконных законов...  
Это мы, это мы, это мы —  
Мастера по ремонту вагонов.

Мы морями непролитых слёз  
Среди сухости угля и мела  
Омываем железо колёс,  
Чтоб оно никогда не ржавело.

---

Макаров Иван Алексеевич — поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Москве. Окончил Химико-технологический институт. Работал инженером, слесарем, сторожем, дворником и т.д. Стихи и проза напечатаны в журналах «Арион», «Знамя», «Волга», «Плавучий мост» и др. Живёт в Калужской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 9.

### *Метро Тимирязевская*

Храм садоводства — зимний сад,  
На ёлках яблоки висят.  
У прихожан глаза горят,  
И все кого-нибудь едят.

Кого-то жрёт  
Какой-то Молох...  
Но нас уже не проведёшь!  
Здесь были мы: и Серп, и Молот.  
А также Ветер, Снег и Дождь.

Подул Борей, замёрзли лужи,  
Умолкли «Слава!» и «Ура!».  
Здесь были мы: и Страх, и Ужас.  
И наши братья Стыд и Срам.

Здесь были мы, а это значит,  
И мы оставили свой след,  
Решили общие задачи  
И кошку скушали в обед.

Тепло на севере у нас,  
Цветёт персидская сирень...  
Нам ихний Молох не указ...  
Храм садоводства. Зимний день.

### *Детский сад*

Стройных женщин белые халаты...  
Паруса. Метели. Полюса...  
Детский сад. Высокие зарплаты —  
Мы же честно ходим в Детский сад!

Шумный век: собрания и Соборы.  
На людях живём, как на весах.  
Детский сад. Высокие заборы.  
Но мы честно ходим в Детский сад!

Заблуждений глупые мученья,  
Горьких дум дремучие леса.  
Детский сад. Всеобщее кочевье.  
В тихий час — игра воображенья.  
Сладкий звон трамвая.  
Детский сад.

Над каналом ясная погода.  
Детский сад большой, как белый свет...  
В детстве я ходил туда три года,  
А потом ещё не знаю, сколько лет.

Время шло, в нём изменялись лица,  
Искажались тяжестью забот:  
Детский сад то в школу превратится,  
То в большой химический завод.

Детский сад переменяет лица,  
Адреса другие и места:  
То смешная древняя столица,  
То высокий горный Кыргызстан.

Ходим строим, парами, кругами,  
Кто во что играем по часам.  
Ветер полигамий-моногамий...  
Что ещё?  
Всё то же: Детский сад.

*Елена Ермолович*

## «Хуже Гитлера»

*Рассказы*

*Рашелька*

*Посвящается Э.К.*

Мы вернулись из эвакуации в июле. Я тащил два простынных узла со скарбом, умирая от тяжести и гордыни, а мама несла драгоценный «Зингер» в деревянном чехле. По пути от остановки мы часто делали привалы, чтобы мне отдышаться, а маме — переменить руку.

— Как думаешь, Тимка, если мы придём, — а в комнате уже кто-то живёт? — спросила вдруг мама.

Я понял, что этот вопрос её гложет. И попробовал успокоить:

— Не бывать такому! Бравура их не пустит!

Этот Бравура был соседом из третьей комнаты. Туберкулёзный облезлый старый гусь. Склочнейший негодяй со «связями везде», как сам он хвастался. И наш друг. Вернее, папин друг, пока папа был жив.

— Твой Бравура не ответил ни на одно моё письмо, — мама сердито дёрнула «Зингер» с земли и выпрямилась, — а в ответ на телеграмму про похоронку прислал ответную: «Увы тчк». Издевательство!

— Мам, ну он же не умеет писать!

Ну то есть он не то чтобы вовсе не умел писать, но слова длиннее трёх букв непременно писал с ошибками. Плюс слог — плюс ошибка. Это Бравурино «увы» наверняка не было злой шуткой, но мама всё равно пообещала ему припомнить.

---

*Ермолович Елена Леонидовна* родилась и живёт в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму). Автор серии исторических романов, в том числе «Саломея» и «Чёрный спутник». Лауреат премии «ДН».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 5.

Москва за четыре года полиняла, выморочилась, будто подурневшая от голода бывшая красавица. Арбатские переулки, прежде весёлые, теперь казались унылыми и блёклыми. Или я вырос? Мы уезжали — мне было десять, а теперь пятнадцать. Так наскучивают детские плюшевые игрушки, со временем траченные молью.

Четырнадцатого дома больше не было — зияла дыра, как во рту от выпавшего зуба. Зато театр почти отстроили заново, он был опутан строительными лесами, и на лесах махали валиками маляры. Прошли мимо школы — та стояла целая.

— А ты надеялся? — посмеялась мама.

— А то!

— И напрасно, ездил бы в пятидесятую на автобусе.

Удивительно было, что совсем исчезли с улиц животные, ни собак бродячих больше не было, ни кошек. И я как-то сразу понял почему.

Возле двери нашей квартиры висели всё те же бумажки: «Гуськовым звонить — 1 раз, Петрищевым — 2 раза, Бравура — 3 раза» и далее, и далее — до семи. А Петрищевы — это мы.

Мама открыла дверь квартиры, мы зашли в коридор. Пахло, как и прежде: жильём, кислятиной, тряпкой. Мама вздохнула, поставила на пол футляр с швейной машинкой, глухо стукнув по половицам. Нашарила ключ от комнаты, вставила в замок.

— Маринка, вернулась! — На стук выглянул из третьей комнаты весёлый усатый Бравура. — И с машинкой, милая ты моя!

— А вы усы отпустили — вам идёт! — польстила мама.

Видно, раздумала его ругать за «увы».

На кухне пропищало радио — три часа. А в Петропавловске-Камчатском — полночь.

Бравура что-то собирался сказать, да не решился, спрятался опять в комнате, только буркнул:

— Вечером занесу кое-что.

И мы зашли к себе. Духота небывалая, на окне крест-накрест — бумага. Пыль пуховым ковром на полу. Мама втащила машинку, потом у окна долго возилась со шпингалетами, и наконец распахнула створки. Острый, как нож, бензиновый свежий воздух вошёл в комнату, в комья сдув пыль.

— Надо стёкла помыть, — сказала мама. — Эти кресты больше не нужны.

Потом поглядела на себя в пыльном зеркале:

— Не узнать — страшная. Это ж надо было ухитриться так похудеть.

Вечером Бравура явился к нам с ворохом тряпок.

— Фурычит кормилица? — кивнул на швейную машинку. Та стояла раскрытая, на столе на почётном месте.

— Краденое? — нахмурилась мама.

— Обижаешь, — трофеи! Перешить надо в брюхе, немка толстая была, а генеральша Зуйкова, она — ну, как ты, Марин, даже мерку снимать не надо.

— Он уже генеральшу успел окрутить! Нитки неси — перешьём.

В эвакуации у нас ниток не было, много чего не было, но ниток — особенно.

Бравура в раздумье взлохматил ещё больше венчик волос вокруг лысины:

— Нитки — это к Рашельке, Исачка внучке. Нитки, иглы для патефона — всё к ней...

И вдруг прибавил:

— Павла жалко!

Весь затрясся мелко, но без слёз: Бравура не только писать не умел, ещё и плакать со слезами.

Вечером мы уснули как убитые, даже не застелив кровать. И, конечно, утром мне очень захотелось увидеть ребят, узнать, кто вернулся, с кем что было в эвакуации. Но мама собралась устраиваться на службу — ей пообещали место учётки в её конторе. Те как раз только-только вернулись в Москву. И мама меня не пустила.

— Придёт та тётка с нитками, Бравурина, — сказала она. — Деньги я тебе оставляю — нитки у неё заberi, и веди сразу в комнату её, чтоб по коридору и по кухне не шастала.

Мама надела довоенные нарядные туфли, вычернила брови и была такова, — с оформлением на службу её дожидаться бы не стали, и так несказанно повезло, что заново берут.

Я помаялся в комнате, выглянул в коридор — там соседка Галочка с кем-то говорила по телефону, опёршись бедром о стену. Играла кистями халата и через равные промежутки времени монотонно повторяла в трубку: «Ты совершенно права».

Позвонили в дверь дважды — нам. Галочка тотчас развернулась к двери всем корпусом, как океанский авианосец. Я побежал открывать.

На пороге стояла девчонка моего примерно возраста. Бледная, худая, с лисьим разрезом глаз.

— А где Марина? — спросила.

На ней были туфли совсем как у мамы, с маленькими каблучками, женские, взрослые. И через плечо висела сумочка из такой гобеленовой ткани, как ковёр. А платье было из ветхого ситца, застиранного, что, казалось, одно резкое движение — и пойдёт по швам.

— Я за Марину. — Я взял девчонку за руку и быстро втащил мимо Галочки в нашу комнату.

— Роскошно живёте!

Она протанцевала по комнате по кругу, по-оленьи процокотала каблучками, закружилась на месте. У этой девчонки были удивительные волосы — тёмно-медные, заплетённые в две самоперевитые толстые косы. Девочка кружилась, — и косы взлетали, хлеща по плечам.

— Так это ты Рашелька? — спросил я.

— Сам-то как думаешь? А на кровати ты один спишь, как принц?

— С мамой.

— Всё равно роскошно. Вот как *мы* у себя спим, я тебе не скажу, чтобы не пугать. Вы хорошо живёте.

Она была красивая. И наглая — это делало её ещё красивее.

— В какой школе учишься? — спросил я, тайно надеясь, что окажется — в моей.

— Я взрослая, мальчик, — сказала Рашелька.

Она приподняла деревянный чехол над «Зингером», заглянула под него и одобрительно цокнула языком.

— То есть нигде не учишься?

— Институт имени Воровского, факультет карманной тяги, — огрызнулась она непонятно, открыла свою козровую сумочку и на комод выложила катушки ниток. Сказала почему-то с акцентом:

— Дэнги давай!

Я вытащил из кармана деньги, отдал ей. Рашелька пересчитала, убрала в сумку:

— Молодец! Выпустишь меня?

Я выглянул из комнаты — Галочка наговорила, ушла.

— Пойдём!

Я вывел Рашельку в коридор, открыл перед ней дверь:

— Хочешь, сходим как-нибудь в кино? — спросил, робея и рдея.

Даже не знаю, как набрался такой храбрости.

— Купишь билеты — сходим! — рассмеялась Рашелька и взлохматила мне волосы легчайшим подзатыльником. — Ну, бывай, сердцеед! Маме привет!

И побежала вниз по лестнице, не дожидаясь лифта, — каблучки её цокотали по лестнице весело: «Да-да-да!»

То было время добрых предчувствий. Война закончилась, мы снова были дома. Маму взяли на службу, а машинка-кормилица приносила какие-никакие деньги. Мама перешивала трофейные платья сперва для одной генеральши, потом пошли заказы ещё от каких-то офицерских жён — Бравура, наш ангел-хранитель, только и успевал относить перешитое. Мама шила ночью, а днём сидела на службе — с дубовой башкой, как сама она говорила, — в холодном подвале; сперва от холода ей приходилось оборачивать талию газетами, потом мама сшила себе пояс из серой валеночной ткани, на завязках-шнурках.

У нас появились средства. Мама купила туфли, пудру — в эвакуации больше всего она по пудре скучала. Отрез на платье — и платье сочинила в точности такое, как было трофейное у генеральши Поповой. Мы несколько раз покупали курятину на рынке, ели её в комнате, чтобы не вызвать ненависти завистливой Галочки. Наша соседка Галочка строчила цидулки на соседей за что попало, а уж за рыночную курятину донос был бы нам гарантирован: целый шпионский роман — как мы эту курятину варили в ночи, под закрытой крышкой, как несли кастрюлю в комнату в полотенце... Один Бравура знал нашу тайну — мы его угощали.

Наглая красавица Рашелька приходила к нам с нитками каждую неделю. С мамой они сделались приятельницами, болтали, а меня выгоняли гулять. Сам я не хотел гулять, когда дома у нас была Рашелька, хотел быть с нею рядом, смотреть на неё. Как она смеётся, прикусывая завиток перекрученной пухлой косы. Слушать олений цок её взрослых туфелек...

Мама рассказала: Рашелька бедная, её семья живёт за рекой в бараке, друг у друга на головах, шестеро в одной комнате. Отец сидит, мать умерла. И одна Рашелька — нитками и патефонными иглами — кое-как кормит всю ораву.

Я выпросил у мамы денег — ведь теперь-то они у нас были. И снова глубоко вдохнул, набрался храбрости и позвал Рашельку в кино. Она усмехнулась и коротко кивнула.

Мы встретились на ступенях кинотеатра. На Рашельке было неожиданное чёрное шёлковое платье, оно блестело, как мокрое. Остальное было прежнее: козровая сумочка, туфельки, простые чулки. Там, на ступенях, какой-то тип вдруг сфотографировал нас со вспышкой — свет ударил в глаза. И потом ещё один подбежал с блокнотом:

— Расскажите о себе! Вы москвичи? Комсомольцы?

— Пионеры Петрухины, идём в кино на мамашины деньги! — огрызнулась Рашелька и за руку поволокла меня к кассам.

И билет мне не продали. Мои пятнадцать лет были написаны у меня на лбу, а фильм — он был до шестнадцати. Рашелька не захотела идти одна.

— Не грусти, будет тебе шестнадцать — и сходим, — утешила она. — Давай я тебя провожу.

— Может, я тебя провожу?

— И не вздумай!

Рашелька опять взяла меня за руку и повела по улице, как маленького. От неё удивительно пахло — горечью и розовым маслом. В переулке у самого дома её окликнул парень, постарше меня, в плоской кепке:

— Эй, Рашелька, кто это с тобой — кавалерчик?

Во рту у парня блестел рандолевый острый зуб, как у Кашея.

Рашелька отпустила мою руку, мгновенно процокала на каблучках к этому Кашею и двумя пальцами крепко ухватила его за нос. Потом отпустила, вернулась ко мне, взяла за руку:

— Идём!

Я не решился спросить её, кто это был.

У самого дома она вдруг остановилась, задрала голову и указала куда-то вверх:

— Ты видишь то, что я вижу?

Там, на четвёртом этаже, в открытом окне, сидел белый кот.

— Могу поспорить, он никогда не гуляет, — сказал я.

Это был первый домашний зверь, виденный мною за четыре года. Рашелька рассмеялась, привстала на цыпочки — она меньше была, чем я, — и поцеловала меня в нос.

Оставалось три дня до школы, когда мама принесла домой газету.

— Гляди, тут про тебя! И Рашелька-то наша, ну и оторва! Надо же выдумать — пионеры Петрухины...

Я пробежал глазами статью, она называлась: «Оживает Москва». Что-то там было про кино и парки. И на фото к статье — мы с Рашелькой, рука в руке, небывало красивые, словно это и не мы вовсе. Рашелька на фото извернулась, как русалка, или как актриса на афише: тонкая талия и совсем женская грудь, корабликом. У меня даже дыхание перехватило — такая она получилась.

— Мне попался по дороге крысиный яд, посыпь ведро, прежде чем выбрасывать, — сказала мама, — ты не поверишь, но у нас мышки. Под утро так шуршали...

Мы продолжали пировать в комнате, чтобы не будить зависть у соседей. Обеды лежали у нас в ведре иногда день и даже два. Неудивительно, что к нам наведались с кухни хвостатые гости.

Я помню тот день целиком, каждый час, каждую минуту. Я высыпал яд в ведро — всю пачку. Мама убежала с газетой в комнату к Бравуре, хвастаться. В дверь позвонили дважды. Пришла Рашелька, принесла нитки. Я впустил её в комнату, кинулся к маме, но та заболталась с Бравурой, сказала:

— Ты знаешь, где деньги, отдай ей сам.

Я вернулся в комнату, слезил в комод, отдал деньги.

— Тимка, ты не представляешь! — сказала Рашелька волнуясь, запинаясь. — У нас строят дорогу, разрыли Дорогомиловское кладбище. Экскаватор своими зубами подцепил землю в овраге — а там гробы! И с покойниками внутри! Вот прям зачерпнул — и из ковша рассыпались волосы, женская толстенная золотая коса!

Рашелька в волнении прикусила кончик собственной золотистой косы. На ней сегодня было прежнее платье — ситцевое, застиранное.

— Наше фото напечатали в газете, — сказал я. — Когда в кино ты была в чёрном платье. Очень красивая.

— Ерунда! — рассмеялась Рашелька. — Ладно, пойду. Маме привет, пусть дальше болтает.

— Проводить тебя?

Я всегда это спрашивал и сейчас спросил без особой надежды.

— А проводи! — вдруг впервые разрешила Рашелька. — Если не трусишь. Конечно, я не трусил.

Рашелька опять вела меня за руку, как ребёнка. Это было приятно, но и немножко обидно. Я глядел на неё, скосив глаза, как мне казалось, незаметно. В старом ситцевом платье не видно было — ни такой талии, ни высокой груди корабликом. Может, из-за цветастого рисунка на ткани?

Мы перешли реку по мосту. Рашелька всё рассказывала — про Дорогомиловское кладбище, как оно было сперва чумное, потом для ветеранов двенадцатого года, потом для всех, а потом на его месте стали строить дорогу. Я почти не слушал. Молчал и глядел на неё. У витрины гастронома

она остановилась, замерла. Там много чего лежало в витрине: окорока, колбасы, сосиски. Рашелька остановилась и смотрела на них стеклянным взглядом.

— Ты голодная? — спросил я её.

У меня остались деньги, и можно было купить поесть. Не знаю, хватило бы. Но Рашелька отмахнулась:

— Нет, я сытая. Так, замутило.

Мы свернули во двор. Рашелька пошла медленнее, потом присела на скамейку.

— Тимка, мне плохо, — сказала она испуганно.

Она стала серая, почти голубая. И губы, и ногти — тёмно-серые, даже чёрные. Сквозь горечь и розу запахло от неё чем-то затхлым, кухонным, чесноком, что ли. Резко, страшно.

— Тимка, вызови «скорую», — попросила Рашелька очень тихо.

Я побежал к шоссе, к автомату, вызвал карету «скорой». Когда вернулся, — Рашелька лежала на скамейке, и вокруг стояли люди.

— Беременная, что ли? — спросила какая-то тётка, и я чуть не кинулся на неё с кулаками.

Приехала «скорая», вышел врач, потрогал пульс:

— Отравление, крысиный яд. И где ж она столько съела этой дряни? Теперь только промывание желудка, но шансов почти нет. Считай, покойница.

Врач открыл Рашелькину сумочку, посмотрел документы — по документам её звали Ольга, и было ей девятнадцать лет. Рашельку положили на носилки, отнесли в машину. «Скорая» уехала.

Я пошёл по мосту назад. Домой. Свернул с Арбата на нашу улицу — в окне, на четвёртом этаже, снова сидел белый кот. Я остановился и глядел на него, наверное, целую вечность. И всё вспоминал красивую Рашельку в той газете, на фото — чёрное нарядное платье, талия, грудь корабликом.

## *Хуже Гитлера*

Каждый раз мучение — ездить в метро. Страшно. Я прекрасно понимаю, что происходит и где я. Эти прорытые глубоко-глубоко ходы, по которым мчится поезд, и толща земли надо мною, и в этой ноздреватой толще — текут ручьи и реки, спят истлевшие кости и ушедшие под землю дома.

С самолётами ещё хуже. Толща уже подо мной, бездонная воздушная, пересечённая слоями облаков, пробитая стаями птиц и клювами других самолётов. Я стараюсь брать место у прохода, чтобы ни в коем случае не видеть окна. Так можно обмануть себя, что ты просто едешь в огромной маршрутке.

Но я меняла билет, и в проходе сесть не вышло. Что дали, то дали. И я смотрела в окно, вниз, на зеркальные финские длинные озёра. Как длинные злые божьи глаза, — будто сама земля тоже глядела на меня, снизу вверх, с тоской и гневом.

---

*Ирина Жукова*

## Слепота

*Рассказ*

Таксист стартанул с буксом и, метнувшись по кольцу напротив вокзала, газанул по Ленина из города вон. Протестующий стон мотора взвыл и затух, сожранный рефракцией.

Ле замерла на перекрёстке. Налево — стопка Полевых улиц: первая Полевая, пятая, и та самая — тридевятая, как она называла её в детстве. Направо — старый центр: рынок, парк, пожарка. Прямо — облупленное здание старого вокзала. Позади — «Пятёрочка». Ле сделала несколько шагов налево и тотчас увидела его.

Дед стоял у пешеходного перехода, и сам будто был его частью: под выдавшим виды серым пиджаком (мама такие называла «сто лет советскому футболу») — не новее пиджака полосатая футболка, точно в цветах пешеходной зебры. Дед чуть покачивался на самом краю бордюра, будто ощупывая подошвами острый резаный край. Белая трость его уже спустилась вниз и упиралась в шербатый асфальт дороги.

Ле замедлила шаг, постояла и вдруг неловко развернулась, едва не сбив рюкзаком некстати подвернувшуюся старушку. Сначала — назад.

В «Пятёрочке» Ле схватила бутылку воды из ближайшего холодильника и сразу пошла платить. Только бы за кассой сидела не тётя Оля. Но там оказалась совершенно незнакомая поджарая казачка в неременном красном жилете. На продуктовой ленте лежал огромный рыжий кот с белыми носочками на толстых лапах. Покупатели несмело ставили продукты подальше от кота и сами двигали добычу по ленте, чтобы не потревожить священный сон. Очередь была небольшая, но кассирша, кажется, не торопилась никуда, и Ле успела оглядеться. За восемь лет здесь мало что изменилось. На том же месте стоял холодильник

---

*Ирина Жукова* родилась в 1983 году в военном гарнизоне в Саратовской области. По образованию — инженер, преподаватель, кандидат экономических наук. Преподавала литературное мастерство детям. Работает в лектории по гуманитарным наукам «Страдариум» от «Страдающего Средневековья». Печаталась в коллективных сборниках и журналах «Знамя», «Юность» и других. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

с мороженым, там же — прилавок местной пекарни. Там же ровная лесенка ящичков с горками овощей. Только за кассой — не тётя Оля.

Оля была женой пожарного. Пожарный был высокий и статный, а Оля — маленькая, смуглая, крупнолицая. Всего в ней было много: веса, темперамента, голоса. Только волос мало. Прозрачную на просвет косу она давно, отчаявшись, отрезала и носила короткий боб химической завивки, тоже прозрачный, наскоро взбитый. И вся она была — наскоро: суетливая, несдержанная, неуклюжая. А муж — в противовес — большой и спокойный, как добрый индийский слон. Она его обожала. Носила ему обеды в пожарку. Но отдавать стеснялась — не отвлекать же от трудов. Оставляла судочки с супом и котлетами у дежурного. Так и узнала — от жены того дежурного — что муж её раздобыл на столовских котлетах. Да только столовки в пожарке отродясь не было, а котлеты свиная-дежурный жрал её, Олины, пока Олин муж на обеденный перерыв ходил через дорогу: в старом угловом доме напротив под самой крышей снимала квартиру новенькая учительница сольфеджио. Совсем молоденькая, бледненькая, с толстенной, будто не по размеру, русой косой.

Не Тётя Оля, надув губы, уставилась на бутылку Ле, будто оскорблённая скромностью покупки. Лента поехала, кассирша забрала бутылку, толстый рыжий кот подкатился к самой кассе и застрял. Лента под ним продолжала двигаться. Кот не шевелился. Кассирша безмятежно пробила бутылку. Очередь не отрываясь наблюдала за лентой.

— Паста нутелла вот по акции.

Лента, наконец, остановилась, и все вздохнули с облегчением.

— Что? Нет, спасибо, — Ле помотала головой.

— Оно того не стоит.

— Простите?

— Мужчины? Более худая подружка? Мама? Кто там не разрешает вам сладкое?

— Просто не люблю пасту, — улыбнулась Ле.

Не Тётя Оля была совсем как тётя Оля.

Ле повертела в руках первую попавшуюся плитку шоколада со стойки возле кассы. Процент содержания какао всё не находился.

— Горький? — кивнула она Не Тёте Оле.

— Как моя одинокая жизнь.

— Валяйте, пробивайте.

Ле вышла из магазина, оглянулась по сторонам, заметила дедову спину уже в самом конце аллеи, обсаженной тополями, и двинулась следом.

Ребёнком она часто видела его — городок небольшой, и почти всех ты знаешь если не по имени, то в лицо. И слепого старика, ходившего по часовой стрелке вокруг центрального квартала, — знали. А потом выяснилось, что это дедушка Машки, соседки по парте. Ле как-то встретила их вместе. Он тогда шёл, как обычно неестественно прямо, чуть откинув большую голову, словно

под тяжестью седых кудрей, встававших крутой волной над высоким лбом. Машка тогда, кажется, смутилась, а потом жарко шептала у школьного туалета, чтобы Ле никому не говорила. Никому и ни за что. Она и не говорила.

Дед больше не откидывал назад голову, теперь он шёл чуть подавшись вперёд, неровной нервной походкой, будто пытаясь ускользнуть от чего-то грузного, неудобной ношей повисшего над плечами. Ле заворожённо смотрела, как этим трудным дискретным шагом он почти с балетной точностью обходил выбоины в асфальте.

Раньше он иногда рассказывал ей о своей слепоте. Это случилось не внезапно. Зрение уходило медленно, порой за целый год изменений не было, и вдруг мир буквально сдвигался, сжимался за неделю. В понедельник он мог из своего кресла читать с корешков дальнего, третьего, стеллажа, в среду — только со второго, а к воскресенью роскошь видеть нужную книгу, сидя за собственным рабочим столом, ушла навсегда.

Время для него остановилось в прошлом тысячелетии. Последний раз он видел родной город в девяностых. Улицы, мощённые песчаником, крошечную площадь перед зданием телеграфа, старую башню пожарки, каменные ворота стадиона. Прошло тридцать лет, а он мог пройти пешком весь город из конца в конец, ни разу не споткнувшись. «Эта долбаная жизнь отняла у меня зрение, но не память», — смеялся он, когда его спрашивали, как он это делает. Город был его опорой, поэтому каждый раз, когда он менялся и перестраивался, дед с особым остервенением ходил к каждой новой стройке, расспрашивал, как выглядят дома, садился на каждую новую лавку и подолгу мог спускаться и подниматься по новым лестницам, как долго мог держать в руках, листать и гладить страницы новой книги и только потом просил её прочесть. Благослови Господь создателей аудиокниг.

Ле издалека увидела провод наушника в его ухе — опять книжка — и улыбнулась. Как он это делает? Считается, что для слепых окружающий мир в большей степени состоит из звуков. Получается, отними шум улицы — и слепой дезориентирован. Не тут-то было. Деду аудиокнига не мешала ничуть. Он всё так же шёл, медленно, чуть отставив в сторону ладонь с длинными, в коже будто не по размеру, пальцами.

Первый раз она взяла его за руку на летних каникулах после пятого класса, им с Машкой было по двенадцать. Она тогда остановила Ле в арке и, оглядевшись по сторонам, вдруг выпалила:

— Пройди с дедом вокруг квартала, а?

— Что? — не поняла Ле. — Зачем?

— Меня Саша ждёт в парке. Мы вчера целовались. И сегодня будем, — заявила она с вызовом. — Только все спросят, где я была. Скажу, с дедушкой гуляла.

— Как же я скажу ему, что я — это ты?

— А, ерунда. Мы не разговариваем.

— В смысле?

— Ну, так вышло. Я сказала маме, что не знаю, о чём с ним говорить. А она сказала, что вообще против, чтобы я общалась с папой и его роднёй. А папа сказал, что общаться и не обязательно, а быть роднёй — обязательно. Мама велела так и передать деду. Я и передала. А дед засмеялся и сказал, что я могу молчать, если мне хочется. Я и молчу, сто лет уже, с прошлой недели. Он сам говорит. Он вообще интересное рассказывает, ты услышишь.

— Погоди, — Ле запуталась окончательно, — это мама при папе тебе такое сказала? Прямо так и сказала?

Машкин папа Серёжа был офицер и красавец. Ле казалось, что такие папы существуют только для того, чтобы носить дочек на плечах и сидеть во главе стола с газетой. Поверить, что они ещё и участвуют в семейных скандалах, было нереально.

— Ну да, он приходит по выходным, и вот примерно так мы и общаемся. Лучше б не приходил, без него уже привычнее. Ну ты уже поняла, мы все крепко долбанутые.

Ле невесело рассмеялась. У неё отца не было совсем: ни красивого, ни обычного, никакого. И дедушки. Никого, кроме мамы и бабушки. А идти с кем-то за руку по городу, даже молча, — это было что-то из чужой неведомой жизни. Волшебство семьи. Магия принадлежности.

Машка сунула руки в карманы джинсов и с надеждой прошептала:

— Пойдёшь к деду? С меня магарыч.

Ле только кивнула. Она понятия не имела, что такое магарыч, так говорила бабушка, но не мама. Но она и сама бы отдала все неведомые магарычи на свете за возможность держать деда за руку. Даже чужого.

— Ну, по рукам. Иди, он сейчас от арки пойдёт.

До арки Ле шла по другой стороне улицы, не смея приблизиться. Как тогда, в самый первый раз. Вот только сейчас она стала старше. За спиной тяжёлый рюкзак и восемь лет запутанной дороги домой. Ле решительно пересекла улицу, едва увернувшись от внезапно вырвавшегося из ниоткуда доставщика на потрепанном скутере. Она мрачно выругалась, тот презрительно гуднул в ответ, на том и расстались. Дед остановился посреди тротуара и повернул голову на звук. Ле твёрдым шагом подошла к нему, мягко взяла под локоть, скользнула ладонью по рукаву и вложила пальцы в его ладонь. На мгновение он склонился к их сцепленным рукам, будто пытаясь разглядеть, выпрямился, коротко бросил «Леночка» и пошёл дальше, увлекая её с собой.

В тот самый первый раз всё произошло вот так же просто. Пока она сосредоточенно пыталась успокоить больно колотившееся в рёбра сердце и подстроиться наконец под его странный ломаный шаг, они уже отмахали полквартиры, а он тихо рокотал что-то о том, что на месте колонии для мальчиков раньше была царская тюрьма. О знаменитых узниках и таинственных смертях. Ле слушала, и город вокруг таял, а за тюремной стеной, в низине, проступали

старые улицы, мощённые булыжником, и крыши домиков, крытые соломой и гонтом. Настоящую соломенную крышу двенадцатилетняя Ле представляла очень хорошо — такая сохранилась у углового дома напротив школы, большого, мрачного, густонаселённого. Школьники избегали его жильцов, странных диковатых детей и угрюмых взрослых, — в основном это были женщины. Народу в доме было много, и никто давно не мог разобраться, кто там кому и кем приходится. Поговаривали, что те и сами не знают — дочь могла приходиться отцу и женой, и внучкой. Ле не понимала, как это, пазл отказывался складываться ещё долгие годы, прежде чем она, случайно вспомнив, вдруг вздрогнула и, нащупав в памяти вереницу странных разновозрастных женщин с одинаковыми трудными лицами, поверила.

Ей всегда было интересно, как себе представляет город дед: ходит ли он по улицам, которые помнил с девяностых, или же воображаемый город его памяти менялся с прибавлением новых знаний о нём. Кто жил в этом его городе? Чьи лица были у людей — выросли ли они вместе с улицами? Она всегда старалась очень точно описывать ему всё, что видит, что замечает, — ей хотелось, чтобы улицы его города были населены как можно гуще. Встретив соседку, она здоровалась, проходила несколько шагов и поясняла деду: это тётя Ира, у неё грустные плечи и очень сильное лицо. Она носит белые рубашки.

У тётя Иры было четыре дочери, такие же тоненькие и бледные. Ещё у неё был большой бородатый муж-геолог. Они жили в геологоразведке, где одна за другой и родились четыре их дочери. В девяностых всё, понятно, развалилось, и геолог лёг на длинный продавленный диван в ожидании, когда *perestroyka* схлынет и геологоразведка откроется снова. Тоненькая тётя Ира работала бухгалтером в тресте полный день, по выходным помогала с налоговыми декларациями расплодившимся, как грибы, новым русским. По ночам шила из дешёвой китайской ткани «под турцию» и пришивала нарядные ярлыки, споротые со старой одежды. Так и протащила на себе свою большую семью через все девяностые: путч, реформы, приватизацию, чеченские войны, дефолт. Девочки, отчаянно нуждавшиеся во внимании вечно занятой матери, обрушивали всю свою нерастрченную любовь на отца, всегда готового выслушать обиды, утереть слёзы, рассказать о сокровищах недр земли. Теперь дочки давно разъехались. Хрупкая тётя Ира вернулась в родной город, отремонтировала старый семейный дом, разбила огород — кормить ораву внуков, регулярно подбрасываемых дочками. В общем, маленькая тётя Ира и на покое продолжала покорять недостижимые вершины всех встречных гор, а седой бородатый геолог мирно лежал на длинном диване и рассказывал окружающим его обожанием внукам, что горы не растут, а только разрушаются. «Велика наука геология», — качала головой мама Ле.

Мама.

Ле поморщилась. Солнце было всё ниже, становилось прохладнее. Шли молча. На следующем перекрёстке они с дедом свернули направо,

на Комсомольскую. Первый дом за перекрёстком был старой генеральши, которая держала во дворе нечто огромное, дикое и брехливое. На лай бабка выходила на высокое крыльцо и, прежде чем поздороваться с прохожими, шикала на пса: «Бить! Стратопедарх». Тогда Ле думала, что стратопедарх — заковыристое ругательство. Перекаtywала слово по слогам и про себя называла так обидчиков. Много позже она наткнулась на это слово у Лескова в «Очарованном страннике» и вместо удивления обыденности значения испытала благодарность и радость — будто старого друга повстречала.

Теперь за забором генеральши было тихо.

— Так и не завела больше пса?

— Померла. Там теперь молодёжь — детей во дворе иногда слышно.

Ле грустно улыбнулась. Так было всегда — она могла не упоминать, что речь о генеральше. Дед прекрасно знал, чей дом они проходят, и легко достраивал контекст. Он вообще хорошо её понимал. И знал. С того самого первого раза он знал, что держит за руку не Машку. Когда Ле, увлечшись рассказами о старых зданиях и событиях из истории города, стала задавать встречные вопросы, он, ответив терпеливо на каждый, между делом спросил:

— А зовут тебя как?

— Лена.

— Леночка. — И как ни в чём не бывало продолжил свой рассказ.

Леночкой звал её только дед. В классе её сначала звали по фамилии. И только сосед по парте, вечно чумазый таджик Рустик, называл её, неувовимо округляя все звуки, Ленейка. Он ко всем так обращался — Андрейка, Надейка, Танейка. Но только из Леночки получилась линейка. За это Ле прикладывала его по идеально круглой голове белым дневником в твёрдой картонной обложке. Да толку-то — класс, конечно, Линейку подхватил, и так и звали её — до самого выпуска. Вырвавшись из школы, из этого города, сбежав без оглядки сразу после выпускного, она вычеркнула всё, что так ненавидела. Из жизни, из окружения, из самой себя. Сократила лишнее, и начала — с имени.

Имени деда она долго не знала. Не спросив в тот самый первый раз, потом — стеснялась. Ужасно глупо казалось прервать его удивительные рассказы просьбой представиться. Пришлось спрашивать у Машки. Ле долго выбирала подходящий момент, повод, формулировку, опасалась, что придётся обнаружить существование этой странной дружбы, но Машка, как всегда занятая перипетиями отношений с очередным ухажёром, кажется, даже не заметила судьбоносного вопроса, бросила в ответ «Павел Олегович» и продолжила стрекотать, щедро пересыпая рассказ именами незнакомых Ле мальчиков.

Ле пробовала выпрашивать про деда у мамы, но та почти ничего не знала, кроме того, что он был историком, когда-то преподавал в местной школе, а в город приехал то ли из Верхнего Мамона, то ли из Нижнего. То ли вообще из Маняково. Ле их много лет путала и про себя называла Манны, как Канны, что придавало обычным чернозёмным деревням изысканный европейский налёт.

И ещё была Тоня, дедова сестра. Самая младшая в семье. Девчонкой высокая, крупная, не по годам развитая, Тоня ещё в Маннах ходила с козами на дальний луг. Там её как-то и нашли рабочие со стройки. Временная бригада городских приезжала проводить электричество в новых коровниках. Не пожалели. Ей не было и тринадцати. Братья потом ходили искали, да только те мужики проводку провели и съехали. Поминай кто, поминай откуда. А Тоня — она ничего, жила дальше. Пила только всю жизнь много. Когда заканчивались деньги, ходила просила налить. Наваливалась тяжёлым плечом на калитку и гудела матери Ле: «Валь, ну хоть одеколончику. Полыхает унудре».

Местные алкоголики собирались во дворе старого купеческого дома, под большой грушей. Проходя мимо, Ле бросила взгляд в арку: в плотнеющих сумерках ещё был различим грубо сколоченный стол, пластиковые стаканчики, бутылки, россыпь игральных карт. Кто-то уже мирно спал на лавке рядом, заботливо укрытый курткой с чужого плеча. Про таких бабка всегда говорила «свят гнев». И Ле представляла горьких пьяниц, кружком стоящих на булыжнике площади у пожарки, грозящих небу мосластыми кулаками.

Следующий дом был дедов. Ле никогда не провожала его до калитки — разворачивалась у арки и шла домой. Он остановился первым.

— Ты надолго?

— Надеюсь, навсегда.

— Своих уже видела?

— Нет ещё.

— Ну посмотри, посмотри. Она — чудо. Ты её полюбишь.

Ле сделала долгий, трудный вздох.

— Я знаю.

Ле было семнадцать, когда она вдруг поняла, что у матери не идут месячные. Что из холодильника исчезли привычные продукты, а мать по вечерам падает от усталости почти замертво — не добудишься. И лишь изредка слышно ночами, как она встаёт, как шлёпают босые ноги до кухни, как раздражающе хрустят один за другим тугие солёные огурцы из запотевшей банки. В тот день, когда Ле, наконец, собралась с духом задать давно просроченный вопрос, мама вернулась с работы пораньше, долго готовила что-то затейливое и перемывала давно приросший к полкам буфета сервиз с золотой каймой. За спонтанным праздничным столом совершенно сбита с толку Ле обнаружила Машкиного папу — какого-то смешного и смущённого, будто ниже ростом, будто совсем и некрасивого.

— Мы распишемся, — мама несла что-то совсем уж неправдоподобное, — к лету. Там и срок ещё небольшой будет. Как поженимся, Сергей Палыч — Серёжа — к нам переедет. Его квартира маленькая совсем — и одному там тесно. Но, может, ты после школы захочешь там пожить? Отдельно.

Серёжа этому монологу лишь аккомпанировал ритмичными кивками. И Ле тут же вспомнила, и так отчётливо услышала звонким Машкиным голосом: «Быть роднёй — обязательно. А общаться — не обязательно». Вот, значит,

как они решили. Родить себе нового ребёнка, а её — вышвырнуть вон, в старое холостяцкое логово Серёжи. Родней, значит, будем, а общаться — не обязательно?

Ле вспомнила, как отчаянно завидовала Машке, как готова была отдать что угодно за её папу офицера Сергея Палыча, за слепого дедушку Павла Олеговича. Господи, как же это вышло, что она получила, невозможно поверить, их обоих? Не так. Не так! Всё должно было случиться не так. Как сказать Машке? Как общаться с этим новым нелепым Серёжей? Как держать за руку деда? Как быть дочерью маме, которая хочет другого ребёнка? Другую девочку.

Где лежали деньги, отложенные на поступление, Ле знала. Едва замечая в адовой гонке ЕГЭ первые недели июня, Ле старательно планировала отъезд и избегала любых разговоров с мамой, занятой подготовкой к свадьбе. После выпускного она тихо собрала рюкзак и уехала восьмичасовым. На долгие, безумные, горькие, такие счастливые восемь лет.

Вот только город оказался с пугающей точностью гальванически протравлен в её памяти. Дома, улицы, лица-лица-лица. Преданная кассирша Оля, маленькая соседка Ира с большим геологом на горбу, Тоня-бабушка, всю жизнь пытающаяся утопить в настойке боярышника Тоню-девочку, вереница трудных женских лиц из страшного дома с соломенной крышей. Из снов на неё смотрели десятки, сотни девочек. Ле хорошо знала, почему уехала, но в какой-то момент забыла, почему не хотела возвращаться. Где-то здесь, в этих улицах, навсегда осталась маленькая Ленея, нежный дух, два внимательных глаза для слепого друга. Ле отчаянно скучала.

Девочки, маленькие и большие, девочки, застрявшие в узлах улиц, выложенных брусчаткой. Они не оставляли Ле ни на миг. Заочка на факультете начального образования в педу, подработка в центре для сложных подростков. Сразу после выпуска — началка в обычной школе. Девочки, длинные косы и клетчатые юбки. Ле любила их отчаянно. В этом году она выпустила свой первый четвёртый класс. И сразу же написала заявление об увольнении. Она хотела набрать свой следующий первый класс в другой школе. Она была нужна другим девочкам. Другой девочке.

Ле медленно шла по улице вперёд, в тихий вечер, где гасло умаявшееся за день солнце и успокаивались раскачанные ветром кроны. Крошечный переулок утопал в вишнёвых деревьях. Спелые ягоды падали и раскатывались по дорожке, она чувствовала под подошвами тугую мягкость и мелкие косточки.

В доме уже горел свет, и на тротуаре отражались жёлтые квадраты окон. Ле обошла их по траве, не смея наступить. Дошла до калитки, толкнула дверь. Во дворе было тихо. В плетёном кресле у куста пионов, где так любила читать маленькая Ле, снова сидела девочка, лет семи. Она подняла глаза от телефона, почесала содранную коленку и внимательно посмотрела на Ле.

— Привет. — Ле отпустила калитку, и та мягко подтолкнула её в спину. — Я Лена.

— А я Леся. Я тебя знаю.

— А я — тебя.

*Андрей Фамицкий*

## Вопрос ребром

\* \* \*

скоро некуда будет скрыться  
от слепящей тьмы,  
а пока посмотри на лица —  
как прекрасны мы!

беззаботны и близоруки  
и хотим домой.  
огради нас всех от разлуки  
перед встречей с тьмой.

\* \* \*

сердце скрипит как стул,  
стул не скрипит при этом.  
значит, и я олдскул? —  
значит, *давно* с приветом?

если скриплю пером,  
если внутри кромешно...  
ставлю вопрос ребром,  
сердце скрепя, конечно.

---

*Фамицкий Андрей Олегович* — поэт, переводчик. Родился в 1989 году в Минске. Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета. Создатель и главный редактор международного литературного портала «Textura», соредактор издательства «Синяя гора». Автор пяти книг стихов, среди них «*minimogum*» (М., 2020). Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

\* \* \*

жизнь превращается в анекдоты,  
но анекдоты нас не смешат.

не разговеешься до икоты,  
так хоть в комментах насыпь стишат.

я не смеюсь — я-то знаю, кто ты.  
черви смеются, они кишат.

\* \* \*

так ловят рыбку старики  
на узком берегу,  
а я придумать ни строки  
об этом не могу.

как будто скопище нолей,  
ни взгляда, ни лица,  
на кромке памяти моей  
рыбачит без конца.

так утомительно в тени  
и дышишь вопреки,  
но только рыбку протяни —  
и клюнут рыбаки.

\* \* \*

так мерзко, как у дьявола в заду,  
а мы всё едем, обливаясь потом,  
чтобы увидеть падшую звезду,  
нам говорят, она за поворотом.

за поворотом новый поворот,  
и мы молчим, не мечемся, не ропщем.  
нам говорят, что тот не патриот,  
кто обладает чем-то там необщим,

и подают какой-то общий знак,  
его не видно (лампа вполнакала).  
когда нас вдруг охватывает мрак:  
звезда, она действительно упала.

\* \* \*

я грек я римлянин я кто-то  
кто не умеет умирать

ключи от комнаты с гробами  
ключи от памяти моей

какая страшная работа  
шарф подбородком уминать

дразнить холодными губами  
лоб что пейзажа ледяней

\* \* \*

одуванчику — оторвать,  
а ромашке расти в траншее,  
вазу в тумбу, пуста кровать,  
но ведь урна ещё страшнее.

или ангел, сюда сошед,  
замышляет иное что-то,  
на обрубке сошёлся свет,  
свет не тьма, он сойдёт в два счёта.

\* \* \*

в этот город въезжал на ослиати,  
чтоб заметили все.  
Пастернаку приветы, а кстати,  
как там змеи в овсе?

приведите ахматовских сирот,  
Гронас, можно сирот.  
что за мир — каждый сам себе Ирод,  
а все вместе — народ.

*Светлана Тремасова*

## Колыбельная

*Рассказ*

Бабка сидела на лавке у тёмного окна и сучила шершавыми пальцами неровную толстую нить. Прялка мерно стучала в тишине, будто в недрах пустого колодца. Пыльная электрическая лампа на завязанном в узел проводе одиноко свисала с закопчённого потолка. В её тусклом свете всё казалось покрытым тонким слоем жёлтого воска: стол с потёртой цветной клеёнкой и алюминиевый чайник на нём были желтоваты, белая печурка и втиснутый между ней и стеной холодильник — бледно-жёлты, даже неровный бок большой русской печи, выкрашенный густой синей краской, имел налёт желтизны.

За стеной послышались скрип пружин железной кровати и приглушённые тяжёлые шаги. Дверь в переднюю тихонько отворилась, и у порога появился дед. Его седые волосы были взъерошены, шея вытянута, и испуганно-выпученные глаза косились на бабку. Бабка по-прежнему устало смотрела куда-то мимо своей работы, продолжая руками привычные движения. Дед, изо всех сил стараясь не обнаружить себя, осторожно опёрся рукой о косяк, медленно приподнял ногу в спущенном залатанном шерстяном носке и, наконец, шагнул через порог. Бабка подняла голову, выпрямилась и громко осведомилась:

— Куда?

Дед вздрогнул, как застигнутый врасплох шалун, весь сжался, уклоняясь от удара бабкиной строгости, потоптался нерешительно у порога и ринулся в сени. Бабка торопливо вскочила, перехватила его уже у обитой тяжёлой двери.

— Куда? Куда? — толкая его обратно, кричала она. — Вот наказание! На двор? Хочешь на двор — вон ведро.

Дед, поджав выпяченную нижнюю губу, быстро-быстро замотал головой.

— А куда? Куда тебя несёт, чёрт окаянный?

— Домой пойду, — заявил дед.

— Вот оглашенный! Дык дома ты, дома! — кричала бабка, вталкивая его в тёмную переднюю. — Посмотри, всю жизнь ведь здесь прожил. Не узнаёшь?

Дед бессмысленно смотрел в сторону и слабо упирался, сдаваясь под её толчками.

— Што упёрся-то? Садись давай, садись. На место. Ну-ка... — И силком усадила на кровать у печки, но дед опять вставал. — Садись, что ли. А то щас врачуху позову, укол будет делать, — вон, слышишь, уже едет, сейчас позову.

Дед насторожился, прислушался.

— Давай-давай, а то щас придут укол делать, — стращала бабка, усаживая его на кровать.

Дед покорился, на некоторое время замер, сложив руки на коленях, смотрел в темноту комнаты и напряжённо вслушивался. Потом склонил голову и стал щипать корявыми пальцами края дырки, обнажившей бледное колено.

Бабка вышла. Сквозь щель приоткрытой двери проникала полоса света из кухни, где она под стук прялки и шуршание нити хриплым голосом подвывала:

— Вай, деда, деда-а. Совсем из ума выжи-ил. Что с тобой стала-а? Вай, деда, деда-а...

Прошлым летом дед стал забывать дорогу домой. Как-то раз, уже за полночь, приводит его Лёшка-сосед:

«Вот, баб Кать, сидит у Тикина старого дома, дрожит весь, забыл, говорит, куда идти».

И на следующий день та же история. Односельчане приводили его то с одного, то с другого конца села и всё выпрашивали: что это с Яковом Ивановичем случилось? «Допился, дурак...» — ворчала бабка, но испугалась, что дед потеряется, стала закрывать двери проволокой, закладывая досками, но дед срывал все бабкины запоры, проволоки, щеколды и сбежал.

Когда приехал на выходные младший сын из города, решили забить вход со двора. Тогда дед ходил по двору, лазил по сараям и чуланам, целыми днями занимаясь поиском бутылок, которые прятал, забывал куда, случайно находил и снова прятал, скрывая от бабки. Потом перестал узнавать сыновей и внуков, не разбирал день и ночь, спал или подолгу сидел, ковыряя дырки на старых штанах, и то и дело вскакивал, пытаясь «уйти домой».

Через некоторое время, заглянув в комнату, бабка увидела, что дед лежит, растянувшись на кровати и сложив руки на груди.

— Ну, слава Богу, уснул. Вай, деда, деда, — она закрыла дверь и привязала её чёрным поясом, висевшим на ручке, к толстому крюку, вбитому в стену у косяка. Не выключая света и не раздеваясь, влезла на печку и, отгородившись цветным лоскутом занавесочки, задремала. Время от времени просыпалась, прислушиваясь, выглядывала из-под лоскута, проверяя свой тряпичный замок, и снова погружалась в дремоту.

Наутро, ещё затемно, бабка, накинув фуфайку, вышла на крыльцо. Было ясно и морозно. В небе над сараями висел бледный обломок луны, и звёзды,

не мигая, вперились в белый ровный свеженапорошенный настил двора. А тишина вокруг — будто и нету ничего. В бабке вдруг занялось беспокойство. И хотелось обратно в дом, и боялась в него, и здесь, в такой тишине, было неуютно, жутко. Но вошла-таки обратно. По сениям прошла, скрипя половицами, оглядела всё. На старом комодe увидела банку квашеной капусты, крышку открыла, ковырнула сверху пальцем — замёрзла, надо бы в дом внести, отморозить да есть. У двери немного постояла и зашла. И прошла прямо в калошах, по чулану потопталась, пошуршала пустыми мешками, вернулась в кухню, к окошку, к Николаю Угоднику в углу. Полезла за икону, выудила ключ на обрезке грязного бинта, письма от детей и внуков последние в руках перебрала, сложила обратно, к двери подошла. Неверными руками отвязала пояс и тихо миновала порог:

— Деда? А деда?

Дед лежал в той же позе. Бабка коснулась его холодного лба, отступила, села на сундук, притулилась к стене, сложив на коленях большие узловатые руки и, опустив голову, уснула.

Здесь всё изменилось с тех пор, как мы были детьми и каждое лето приезжали на каникулы. В слегка искажённом лике старого зеркала отражаются крашенные доски полов с разводами от грязной тряпки. Занавески в жёлто-оранжевых цветах, которые некогда скрывали кровати, стоявшие по двум сторонам круглой чёрной печки, теперь скомканы под одной из кроватей, смешаны с серым бельём и выцветшей одеждой. В пыльной пустоте самодельного серванта беспорядочно рассеяны пуговицы, обломки карандашей, иглы, нитки, разбитый шприц, помятые старые сторублёвки, придавленные гипсовым бюстиком Пушкина. Несколько потрёпанных книг и стеклянных рюмочек. Посеревшие занавески на окнах и образах отдёргнуты и покрыты пушком скопившейся пыли. Большие часы на стене глазают стальным неподвижным оком — от них потерян заводной ключ... На стенах, на поблёкших обоях — увеличенные фотографии сыновей, наших отцов, неестественные, будто нарисованные. Ещё юные и совсем уже непохожие. Как и всё здесь: знакомое, но уже непохожее.

И когда мы приехали сюда — все пятеро внучат — и стояли у гроба, в котором лежал наш дед, мы не узнавали его. Мы не узнавали его очков с такой знакомой и смешной резинкой, привязанной к дужкам, его учебник латыни в ручном переплёте с чёрными корками и красным корешком, неизменно лежавший на подоконнике рядом с диваном, зелёную потёртую гимнастёрку, не покидавшую дедовские плечи ещё с войны. Всё казалось странным. Каким-то не таким, каким должно быть, каким в нашем понимании было всегда. Мы не узнавали даже зимы на дворе...

Стояли февральские морозы. С каждым входящим в дом влетали клубы морозного воздуха из распахнутых настежь сеней. Запах горящих свечей и лампад завис под потолком банным угаром. А по ногам тянуло сквозняком.

Передняя была полна народом. За столом с хлебом, солью, крупой, мукой, утыканными горящими свечами, сидели три чёрные старухи: одна читала, другие

---

*Лидия Фитисова*

## Бабушкин чемодан

*Два рассказа*

### *Стежки*

Куда иголка — туда и нитка.  
*Пословица*

Лично я чувствую себя на педсоветах крепостной девкой. Вроде как слова мне никто не давал, мнения не спрашивал, а тумаки и поручения — все мои. Наши. Ладно... Я киваю. Мы киваем. Если кивать с пониманием дела, то есть шанс освободиться пораньше и... Проверить тетради, например. А нет, — до тетрадей сегодня уже не дойдёт: там ещё какую-то форму нужно заполнить электронную. С тех пор, как нас освободили от бумажной работы и приговорили к электронной каторге... Ладно, а то я опять жалюсь-жалуюсь, а говорили ведь люди знающие: «Это был ваш личный выбор!» А что делать, если бизнес — он не про нас.

«Коллеги, вы даже представить не можете, какого труда мне стоило выбить для нашей школы компьютерное моделирование. Мы же с вами не хотим, чтобы наши дети в двадцать первом веке на уроках технологии вышивали на пальцах...» — взывает к чутким педагогическим сердцам новый наш директор — очень продвинутая молодая женщина в классных туфлях из ЦУМа. (Я всегда люблю чужими туфлями, потому что куда мне — дылде — каблуки! Да и к концу дня ноги болят... А хочется.) «Не хотим, не хотим!» — киваем мы. «Чтобы они вышивали на пальцах, у них ещё нужно из пальцев айфоны повывёргивать», — шепчет мне на ухо молоденькая учительница биологии. Она милая. Я киваю и улыбаюсь ей. У меня всё-таки десятилетний стаж снисходительности. Но эти пальцы-пальцы...

Я вспоминаю свои девяностые за школьной партой, просторный класс с крашеными деревянными полами и роскошными цветами на подоконниках...

---

*Фитисова Лидия Сергеевна* родилась в 1991 году. Окончила МПГУ им. В.И.Ленина, работает учителем словесности в школе. Живёт в Подмосковье.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 12.

(Да-да, с цветами! Тогда ещё никто не догадывался, что комнатные растения небезопасны для школьников, и наши учителя по наивности украшали ими окна.) Тогда из роскоши в нашей жизни были только цветы... На наши допотопные уроки труда мы приносили красивую коробочку от шоколадных конфет, приспособленную под рукоделие. В ней хранились настоящие сокровища: пяльцы, нитки мулине, игольница с иглами всех мастей, пёстрые лоскуты ткани, ножницы и кусочек мыла. Во втором классе такая коробочка была и у мальчиков, и у девочек. Мы, девочки, разумеется, соревновались друг с другом в красоте сначала коробочки, а уж потом — рукоделия, а мальчикам здорово доставалось за кавардак внутри. Мариванна, устав объяснять нашим родителям, что бывшая наволочка, как её ни расшивай, салфеткой не станет, сама ездила в воскресенье на рынок и покупала для нас белоснежное хлопковое полотно. Дома она превращала его в двадцать прямоугольных отрезов (по числу нас), отпаривала их утюгом и на каждый наносила контур будущего рисунка. Перед тем, как передать ткань в наши трепетные руки, учительница непременно спрашивала, а вымыли ли мы их. А с мылом ли? Чистыми ручонками мы, дети, доставали из своих коробочек пяльцы и натягивали белоснежную ткань, добросовестно расправляя складки. Сжимая в непослушных пальчиках колкие иголки с крошечными ушками, сопя и шмыгая, мы делали свои первые робкие стежки по обозначенным Мариванной контурам — учились вышивать. Если стежок выходил абы-кабы, она терпеливо помогала его убрать, не повредив ткани, и мы старательно, добросовестно делали новый — ровный, правильный. «Куда иголка, туда и нитка», — любила повторять наша классная мама. Кривых стежков не должно было быть ни у кого — это правило Мариванны, это было нашим ещё не выученным правилом. Салфетку разрешалось вышивать два урока, а можно и целый месяц, если не получается, но итогом кропотливого труда должны были быть уверенные, ровные, гладкие, говорящие на языке цветов — не иначе — стежки. Я хорошо помню первую вышитую мной салфетку. Она была безупречна: нежный колокольчик на тонком стебельке заботливо склонил голубую головку к зелёному листику. Мариванна разрешила забрать салфетку себе, и я очень обрадовалась, потому что хотела всем её показать. «Такую и не купишь!» — похвалила меня дома бабушка, обычно не очень щедрая на похвалы.

Я росла с бабушкой. В 90-х дети часто росли с бабушками, ещё чаще — сами, пока родители трудились в поте лица, зарабатывая на хлеб и подсолнечное масло. За нами зорко приглядывал двор, он же сурово воспитывал. Я была самая младшая, то есть мелюзга, — и меня неохотно принимали в дворовую компанию. Но когда у меня каким-то чудом появился настоящий волейбольный мяч, появился и шанс стать своей. Меня даже стали брать на речку.

Обычно мы встречались на лавочке у колодца. Лёха с Надькой по-соседски помогали Люсе и Аришке — сёстрам-погодкам — наполнять бочки для вечернего полива овощника. Меня не допускали: лишнего ведра не было. Я сидела на лавочке в обнимку со своим новым мячом и с нетерпением ожидала товарищей. Но по обрывкам доносившихся до моих ушей фраз догадалась, что ни мой мяч, ни я сегодня... Кажется, у ребят были другие планы. «Так, идём мы с Люсей,

Лёха и Надька, мелюзгу не берём», — сказала Аришка полушёпотом, искоса посмотрев на меня. Лёха кивнул ей и засвистел какую-то задорную песенку. «Ребята, ведра в сарай отнесите — стырят!» — бойко крикнула Люся, вешая здоровенный ржавый замок на калитку овощника. Я побежала в сарай следом за старшими.

— Люсь, Ариш, а куда вы потом идёте? Возьмите меня, а? — мельтешила я перед глазами старших девочек.

— Маленькая ещё, — отрезала, как всегда, строгая Аришка. — Растреплешь всем!

— Я не маленькая! — взбунтовалась я, и глаза мои заблестели слезами. — Я никому не скажу... Ну, можно я с вами, Ариш?

— Да возьми ты её, чё ты? Она не стуканёт, — сказала долговязая Люся своей сестре.

— Правда не стукану. Честно-честно! — заверяла я.

— Реветь будет! Пусть домой идёт! — не соглашался Лёха. Он всегда злился на моё присутствие в их стае.

— Я не буду реветь! — пообещала я. И тут же спросила: — А что, больно будет?

— Тебе не будет, не бойся. Ничего такого, — успокоила Люся. — Пойдёмте уже, а то скоро наша мамка на обед завалится — и будет всем.

Мы отправились по извилистой тропинке за сараи, прошли огородами к санаторию, где работала мама Люси и Аришки, нырнули в разросшиеся кусты акации, жужжащие работягами-пчёлами. Лёха держался за карман выцветшего пыльного трико, будто в нём было что-то ценное.

— Люсь, а ты всё взяла? — спросила Аришка, кивнув на вязанный крючком рюкзачок на спине у сестры.

— Да, но надо потом на место поставить, а то спалимся, — успокоила её Люся.

Я решила не задавать никому лишних вопросов, чтобы меня не вышвырнули из стаи и не отправили к бабушке. Поспешным шагом я нагоняла Люсю. Она была самая старшая и самая добрая девочка, лучше всех ко мне относилась. И когда Лёха обзывался, Люся одна не смеялась надо мной. Вот и сейчас она была за меня, и мне хотелось её расцеловать. В кармане моего сарафана лежала белоснежная салфетка с голубым колокольчиком, и я поджидала удобный момент, чтобы показать её старшей своей подруге.

Высокая трава щекотала ноги. Полевые цветы вдыхали полуденное солнце, выдыхая медовую с горчинкой пыльцу вошедшего в силу лета.

— Клевер, ромашки, колокольчики, тысячелистник, — называла я вслух знакомые цветы. — А это что?

— Это пижма, — ответила Надька.

— От глистов помогает, — заметил Лёха, пришлёпнув жирного овода на загорелой руке.

— Ага, Лёха козу на луг выведет утром и как давай пижму жрать! Сама видела! — надрывалась от смеха Маришка.

— Дура! Сама ты её жрёшь, — обиделся Лёха.

— А это что? — я показала на сиреневый пушок то ли в малюсеньких бочонках, то ли в напёрсточках.

— Ананас! — съязвила Аришка, похоже, довольная собой.

— Что, правда? — не поняла я.

— Кому ты веришь, какой это ананас? Это бодяк, вон его сколько! — объяснила Люся, приобняв меня за плечо.

— Красиивый... — протянула я.

— Сорняк, — буркнула под нос Надька.

За санаторием находился старый подвал с заколоченной наглухо дверью. Он сплошь зарос колючими кустами шиповника и высокой травой. Мы без труда забрались на его замшелую плоскую крышу. Пахло сыростью, прелой листвой, нашей общей тайной. Ребята переглянулись. Люся сняла свой красивый рюкзачок и присела на корточки. Развязав шнурок, она достала несколько бутылков: йод, зелёнку, перекись водорода, ещё что-то, — потом вытащила из наружного кармашка два шприца.

Затаив дыхание я наблюдала за происходящим.

— А иголки, Люсь? — нетерпеливо спросила Надька. — Где иголки-то?

— Да вот они, на! — Люся вытряхнула из маленького кармашка рюкзачка иголки от шприцов.

— А где наш пациент? — с задором спросил Лёха и, дождавшись всеобщего внимания к своей вшивой персоне, вытащил из кармана большую зелёную лягушку.

У меня онемели губы. Только в эту минуту я поняла, что сама попросилась сюда и что теперь...

— Так, если хоть одна падла расскажет об этом дома... — не договорил Лёха.

Все испытующе посмотрели на меня. Я вросла в землю и словно окаменела.

— Никто же не расскажет? — нахмурила брови Аришка, и по её интонации было понятно, что тот никто, про которого она говорит, это я.

— Никто, — бесцветными губами пролепетала я и растерянно посмотрела на Люсю...

Иголки были длиннее швейных раза в три... Шприц, будто малярийный комар, всасывал густо окрашенные жидкости из маленьких стеклянных пузырьков. «Дай мне второй шприц, я тоже хочу попробовать», — шёпотом сказал кто-то. Иголки без страха и жалости втыкались в пульсирующее тельце беспомощного живого существа, оно раздувалось. Тогда я поняла: хладнокровные не кричат, они мучаются как-то иначе. «Жива ещё, что ли? Я бы уже давно сдохла от такого». Кто-то смеялся. Укол. Ещё укол. «А чё, может, ей нравится». Я и правда не помню, кто колол, кто не колол, кто смеялся, кто курил в этот страшный час: ужас и омерзение от происходящего и от своей причастности к нему меня парализовали.

— Чего ты бледная такая? Это ж лягушка! — заржала Надька. — На них опыты медицинские ставят, не знала, что ли?

— Знаю, — ответила я каким-то не своим, хриплым голосом.

— Вон в школе у нас они в раскоряку по банкам полощутся в спирту, и чё? Ты у этих банок рыдаешь, что ли? — недоумевала она.

— Нет.

— Тебе жабу жалко, что ли? — присоединилась к допросу Аришка.

Я не знала, что говорить, зато знала, чего нельзя говорить. Мелкая дрожь была изнутри, и я сама походила на подопытную лягушку.

— Точно стуканёт. Люся, на кой чёрт мы её взяли? — ругался Лёха.

— Да не скажу никому я, никому я... — у меня заплетался язык.

— Смотри! — рыкнула Надька.

Мимо нашего укрытия, натужно скрипя педалями, проехала грузная почтальонша. Не заметила, слава богу. Лёха перекрестился.

— Надо собираться уже, обед скоро! — хором почти сказали сёстры.

Все засуетились. Подопытную схватили за заднюю лапку и швырнули под камень. Шприцы полетели под куст.

— Перекись протрите кто-нибудь, пузырёк испачкался, — попросила Аришка. — Где крышка от йода?

— Платок есть у кого-нибудь? — спросила Надька, вывернув пустые карманы.

— Что, ни у кого нет платка? — нервничала Люся. — Мать заметит — убьёт.

Я пошарила в кармане и вытащила белоснежную салфетку с голубым колокольчиком...

— На, Люсь.

— Точно больше ни у кого нет платка? — Люся посмотрела на ребят. — Жалко. Не отстираешь ведь, придётся выбросить.

— Ничего страшного. У меня ещё дома есть, — зачем-то соврала я своей Люсе.

— Точно? Ну ладно.

Девочки начисто вытерли пузырьки, сложили их в Люсин вязанный рюкзачок, сверху прикрыли панамкой. Голубой колокольчик, перепачканный медикаментами, никому ненужный, валялся в траве.

— Сама, что ли, вышивала? — удивилась Надька.

— На трудах, — кивнула я.

— Так ровненько... Я так не смогу, — вздохнула она.

Я смотрела на ровные, один к одному стежки: стебельчатый шов, тамбурный шов, вперёд иголку. «Неужели это и правда сделала я? Безукоризненную красоту на белоснежном хлопке...» Оказывается, у стежков много видов, а я освоила только три, в кровь исколола пальцы, но надо ещё, обязательно надо, потому что... Глаза наливались горячими слезами: «Неужели это и правда сделала я? То, что лежит под камнем, то, что испачкано йодом...»

По дороге домой мы ещё раз договорились, что никто и никому, а если вдруг кто... то плохо будет всем. Мне уже было плохо. Я послушно кивала и устало волочила ноги по примятой траве, по истоптанным полевым цветам.

Но это было давно, это было в такое трудное для страны время. А сейчас-то другой век. Говорят, сейчас совсем другие дети...

*Евгений Сливкин*

## Пускай грядут большие перемены

### *Сентябрь*

К.

Над нами стало меньше звёзд —  
без счёта их транжирил август,  
но небосвод атлантам в тягость,  
как соснам вес вороньих гнёзд.

А я под сенью сентября  
хочу смотреть на звёзды эти,  
писать стихи, любить тебя,  
испытывать терпенье смерти.

И ненароком иногда  
просить у прорвы молчаливой,  
чтоб путеводная звезда  
была вдобавок и счастливой.

\* \* \*

Темнеет полуяркая,  
сияет полутусклая  
в ночи звезда Полярная.  
А вдруг она не русская?

Пора глухая, поздняя,  
пути-дороги пройдены.  
Как близко небо звёздное!..  
Гораздо ближе Родины.

---

*Сливкин Евгений Александрович* — поэт, филолог-славист. Родился в 1955 году в Ленинграде. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького в Москве. В 1993 году переехал в США. Защитил диссертацию (PhD) по русской литературе. Преподаёт в Вирджинском политехническом институте. Автор семи сборников стихов, среди них «Сестра отчаянья» (Сиедлище, 2024), а также ряда статей о русской литературе XIX и XX веков, опубликованных в журналах «Звезда», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение» и др. Живёт в г. Блэксбурге (штат Вирджиния, США). В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

## Город Д

Прибили герб на крепостные стены,  
но так и не придумали девиз...  
Пускай грядут большие перемены —  
не двинется беде навстречу Двинск.

Вокруг него леса, поля и сёла,  
а в центре — белокаменный острог,  
яичный купол церкви, шпиль костёла  
и новострой на месте синагог.

По воздуху плывёт цветочный запах,  
и сонно через улицу ползёт  
тяжёлая, как время, черепаха —  
Даугавпилса каменный маскот<sup>1</sup>.

Она от долгой старости ослепла  
и продвигает лапы наугад.  
Взлетают чайки со следами пепла  
на крыльях и отчаянно кричат.

Вернётся память, стёртая вчистую,  
и город предков будет сниться мне:  
одной ногою в прошлом, а другую —  
он потерял на мировой войне.

\* \* \*

Начинается день спозаранку —  
все-то стали теперь занятые!  
Кто в присяжные, кто в понятые,  
кто в допросчики, кто в несознанку.

В это взрослое дело и дети  
на площадке играют открыто.  
Скажет мальчик:  
— Я буду свидетель  
обвинения!  
— Нет, ты — защиты!

И на фене блатной залопочут.  
И дойдут у них тёрки до драки.  
И в песочнице злобно растопчут  
возведённые было бараки.

---

<sup>1</sup> От англ. mascot — животное, приносящее удачу и олицетворяющее собой город, университет, спортивную команду и т.д.

*Еврипид*

Стоял Агамемнон, как будто в кровавом тумане,  
и дочку не мог отличить от зарезанной лани.  
Всем списком триеры покачивались и скрипели —  
на палубах выли военные флейты оркестра.  
С прибрежных равнин отзывались пастушьи свирели.  
И видела ей предстоящую роль Клитемнестра.  
Приблудный вещун возомнил о себе, что оракул:  
спросили его — лучше б он ничего не ответил!..  
Пошли облака, облачённые в белый каракуль.  
И тронулся ветер. Трагедии парусный ветер.

\* \* \*

Когда, как будто наяву,  
над этим миром на матрасе,  
зажмурился зенки, я плыву —  
я вижу: жизни нет на Марсе.

А после перед кем-то в рясе  
держаться приходится ответ:  
— Признайся, есть ли жизнь на Марсе?  
Я говорю: — Там смерти нет.

*Инна Кабыш*

# Мой первый мужчина

*Повесть*

Я видел сны и женщин во сне...

*И. Бабель. «Мой первый гусь»*

## *Глава 1. «Балеринки»*

Нас называли «балеринками» — это был неофициальный медицинский термин (официальный — «анорексички»), и означал он девочек-подростков, умышленно и настойчиво худеющих.

Одни после каждого приёма пищи, засунув два пальца в рот, исторгали из себя всё съеденное. Другие прятали и незаметно выбрасывали свои порции. Третьи...

В общем, способов было много, а цель одна.

После голодных послевоенных лет худоба впервые, не считая начала века, входила в моду. Мы были её первыми ласточками, точнее, стрекозами, короче — жертвами.

Как правило, каждая «балеринка» имела своего кумира, узнавала размер его (её) талии и стремилась к нему.

Моей целью были пятьдесят восемь см. Гурченко.

Я разработала свой план достижения цели: завтрак выбрасывала (мама уходила на работу раньше, чем я в школу), школьный обед отдавала Вовке Булкину, а от ужина отказывалась на основании того, что его нужно отдавать врагу.

Мама только плечами пожимала.

Сначала.

Сказать, что это было трудно, — не сказать ничего.

---

*Кабыш Инна Александровна* — поэтесса. Родилась в Москве. В 1986-м окончила факультет русского языка и литературы Московского педагогического института. Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других. Автор книг «Личные трудности», «Переходный возраст», «Кто варит варенье в июле», AVE EVA и других. Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург), «Московский счёт». Живёт в Москве.

Днём я перелистывала смачно иллюстрированную книгу «О вкусной и здоровой пище», которая была в каждом советском доме, а ночью видела сны, в которых на деревьях росли «Калорийные» булки, а по молочной реке плавали гуси с яблоками.

Да, это были классические Танталовы муки: муки голода посреди всеобщего изобилия.

Потому что, хоть семидесятые годы и были годами дефицита, но обычной, «вредной» еды — масла, майонеза, хлеба, конфет, мороженого — в них было вдоволь.

Каково же было смотреть на одноклассников, уплетающих ромовые бабы, и гостей, поглощающих оливье.

Но — не будем о грустном.

Будем о трагичном.

Или, во всяком случае, — драматичном.

Когда при росте сто семьдесят см весы, на которые во время школьной диспансеризации поставила меня медсестра, показали сорок кг — бараний вес, — взрослые — медсестра, классная руководительница и, конечно, мама — забили тревогу.

Меня срочно поместили в подростковое отделение психо-неврологической больницы.

В нашей палате, смешно сказать, № 6, было четыре «балеринки». Удивительно красивая слепая шестилетка и гиперсексуальная девочка двенадцати лет, день и ночь занимавшаяся мастурбацией.

Мы, «балеринки», держались вместе. У каждой был свой анамнез, или история о том, «как она дошла до жизни такой».

После отбоя мы залезали с ногами на мою кровать (четверо «балеринок» легко умещались на одной кровати) и рассказывали о себе.

Аня, насмотревшись «Римских каникул» и «Завтрака у Тиффани», стремилась к параметрам Одри Хепбёрн и домучилась до того, что мечтала: когда её положат в больницу, и она наконец сможет поесть.

Клали её уже третий раз.

Таня боготворила Плисецкую.

В балетную школу её не взяли: что-то не так было с ногами, и она решила хотя бы в жизни походить на своего кумира.

У Тани был свой метод: после каждого приёма пищи она прыгала тысячу раз (врачи прозвали её попрыгуньей).

Мой диагноз был — Гурченко.

Оксана, я даже помню её фамилию — Вовк, худела непонятно почему, но с фанатизмом, превышающим наш общий.

Забегая вперёд, скажу, что наша «болезнь» была не столь безобидной, как могло показаться на первый взгляд. Ведь у «балеринок» уходили не только килограммы: в определённый момент у них прекращались месячные. Что было чревато бездетностью — самой, на мой взгляд, страшной трагедией для женщины.

Из больницы нас выписали в разное время, но мы обменялись телефонами и потом созванивались и пару раз даже встречались.

«Мы» — это я, Аня и Таня.

Оксана Вовк была из Новосибирска, и мы её как-то потеряли.

Слава советской медицине и доктору Людмиле Абрамовне, вправившей нам мозги (потому что наша болезнь, как теория Раскольникова, вызревала в мозгах: как Раскольников хотел сделаться Наполеоном, так и каждая из нас хотела стать или Одри Хепбёрн, или Плисецкой, или Гурченко).

Аня вышла замуж, родила троих детей и «работала» многодетной матерью.

Попрыгунья Таня устроилась в Большой театр костюмершей и родила дочь.

У меня были сын и любимое дело.

А вот Оксана Вовк!..

Всё-таки медицина не всесильна.

Как-то, двадцать лет спустя, по заданию редакции я оказалась в нашей психо-неврологической больнице. Нашла Людмилу Абрамовну, она была уже совсем старенькой.

С её помощью в архиве больницы отыскала телефон Оксаны Вовк.

Вечером позвонила.

Трубку взяла Оксана и, поняв, кто звонит, радостно сообщила, что сегодня мать забыла дать ей в обед хлеб.

Я всё поняла.

Мать Оксаны, которую я попросила к телефону, со слезами рассказала, что Оксана не кончила школу, не вышла замуж... В свои тридцать шесть — при росте один м шестьдесят пять см — она весит тридцать кг, является инвалидом II группы и получает пенсию.

## *Глава 2. «Ташкент — город хлебный»*

Из больницы меня выписали под Новый год — я полностью пропустила первое полугодие девятого класса.

Но мама по этому поводу не волновалась — и была права: я занималась в больнице и быстро догнала (а в иных случаях и перегнала) своих одноклассников.

Волновалась она — по другому: мои месячные, как год назад ушли, так и не приходили.

Людмила Абрамовна при выписке сказала маме (много лет спустя она мне это передала): «Мы поправили вашу дочь на восемь кг — смерть от истощения ей не грозит. Что же касается женского здоровья... Тут нужен эмоциональный всплеск, какой-то — в хорошем смысле — шок... Нет ли у вас родственников в некоем экзотическом месте?»

Мама, подумав, кивнула.

«Мой совет: отправьте её к ним...»

Мама была из многодетной семьи: у неё было две сестры и три брата. Но все жили в более-менее прозаических местах: Саратов, Тула, Тверь, Торжок.

И только младшая мамина сестра Иванна — тётя Аня — жила в Ташкенте.

Мать тут же приняла решение и поставила меня перед фактом: «На летние каникулы поедешь в Ташкент, к тёте Ане...»

Я пожала плечами: Ташкент так Ташкент. Даже интересно. Тем более что Сашка Потапов, моя любовь, всё лето будет на сборах.

Сашка был футболистом и круглым троечником. Он не знал ни одного стихотворения, а из книг в девятом классе прочитал только «Войну миров» (это вместо «Войны и мира»).

В общем, типичный расклад: барышня и хулиган.

Да, важно: он играл на гитаре.

Какая «барышня» могла устоять перед *таким* «хулиганом»!..

Тёте Ане в тот же день полетела телеграмма — не короче той, что отправила мать Лариосика Турбиным. Моя мама рассчитывала на восточную экзотику и экзотичность самой тёти Ани.

Последнюю я оценила в первые же дни. Тётя Аня была, что называется, интеллектуалкой: работала переводчицей в институте геологии, но её главной любовью (я бы даже сказала — страстью) была русская литература.

Она залила меня письмами Тургенева, «Тёмными аллеями» и «Записными книжками» Чехова.

Между тем, перефразируя последнего, «жара крепчала».

В июне термометр показывал 30+: приближалась «чилля» — сорок дней жары до +50 градусов.

И тётка, за двадцать лет жизни в Ташкенте адаптировавшаяся к его климату, принялась спасать племянницу-москвичку.

В институте геологии, где она переводила, группа геологов собиралась *в поле* («поле» для геологов всё равно что «раскопки» для археологов) — в Алмалыкские горы.

В горах всегда прохладнее, чем в городе, — и тётя Аня упростила начальника группы, Анатолия Туресбекова, взять меня в экспедицию в качестве ну... поварихи. Ничего лучшего она придумать не могла. Домоводство, включавшее тему «Кулинария», было самым ненавистным моим предметом в школе.

«В кипящее молоко тонкой струйкой засыпать манную крупу...» — как сейчас помню голос учительницы домоводства, одетой во что-то розово-зелёное, что — после «Трёх сестёр» — было для меня верхом безвкусицы.

От всех этих «ткачих, поварих и сватий бабок Бабарих» меня тошнило.

Но вот Остап Бендер: не умея ни рисовать, ни играть в шахматы, объявил же себя художником и гроссмейстером.

Тётя Аня была авантюристкой: я отправилась *в поле* — кашеварить.

### Глава 3. Любишь — не любишь

Партия геологов была небольшая: шесть человек — все мужчины.

Начальник группы Анатолий Халилович (по матери — русский, по отцу — казах) кроме геологии имел ещё одну страсть — русскую поэзию. (Всё детство-отрочество-юность меня окружали люди, обожающие литературу: я была обречена стать пишущим человеком.)

В конце июня мы прибыли к месту расположения партии — на турбазу в Алмалыкских горах.

Никогда раньше я не видела *такой* красоты: озеро, обрамлённое, как камень в перстне, горами, чабаны, пасущие белоснежных овец, алыча, обсыпающая деревья так, что они казались золотыми.

По утрам партия отправлялась в поле за образцами минералов.

С собой брали сухой паёк. Возвращались часов в пять-шесть — к этому времени должен был быть готов горячий обед.

Я предусмотрительно взяла у тёти Ани, кроме Золя и Достоевского, «Книгу о вкусной и здоровой пище».

Через несколько дней члены группы стали роптать: все мои обеды «по книжке» были правильными, но... невкусными. (Это и понятно: я не вкладывала в них главный ингредиент — душу.)

Ничего не замечал только начальник Туресбеков, потому что, как замечала я, успел влюбиться.

По совету одного из членов группы, он нанял в качестве поварихи дочь местного чабана Наргиз — геологи были в восторге от её плова и шурпы. А сам всё чаще отлынивал от походов в поле и оставался на турбазе, точнее, со мной.

Мы плавали в ледяном озере, ездили верхом, ели алычу и наперебой читали друг другу стихи:

— Я пришёл к тебе с приветом!

— Помню чудное мгновенье...

— Сжала руки под тёмной вуалью...

— Жди меня, и я вернусь...

Я даже читала ему свои первые поэтические опыты:

И Сашка, что лежит в земле,  
наш самый первый классик,  
и Сашка — лучший на Земле  
мальчишка-одноклассник.

И он серьёзно говорил:

— Знаешь, ты пиши...

(Мне было с ним безумно интересно, но я его... не любила.

Хотя, собственно, почему было не влюбиться? Меня вовсе не пугала разница в возрасте (ему было сорок), да и выглядел он прекрасно: высокий, стройный, в фирменных джинсах — это в семидесятые-то годы... Но я уже знала, что такое «любовь»: «любовь» — это Сашка Потапов.)

А однажды Анатолий вообще отправил всю группу на выходные в Ташкент, и мы провели вместе два дня.

Конечно, слухи о том, что Туресбеков влюбился в девчонку, поползли по институту — и, конечно, дошли до моей тётки.

Она дико перепугалась (я бы тоже перепугалась на её месте: старшая сестра доверила ей свою единственную дочь, шестнадцатилетнюю *девочку*, а тут такое!..).

Не только мобильных, но и простого телефона на турбазе не было — и тётка написала Туресбекову письмо, которое привезли вернувшиеся с выходных товарищи. Анатолий, хмурясь, распечатал письмо — я чувствовала, что дело касается меня.

Так и было. Дочитав до конца, он перевёл на меня глаза и с невесёлой усмешкой сказал: «Категорически велено срочно привезти тебя обратно. — И добавил: — В *целости* и сохранности...»

Вечером я собрала свои нехитрые вещички и книжки, а рано утром мы поехали в Ташкент.

От нашей турбазы до Алмалыка было часа полтора езды и от Алмалыка до Ташкента — примерно столько же.

Когда до Ташкента было уже рукой подать, Анатолий вдруг спросил:

— Но ведь я могу привезти тебя вечером?..

— Можешь... — ответила я.

#### *Глава 4. Ташкентские каникулы*

Я пишу не справочник для туристов, а потому не буду перечислять всё, что показал мне в тот день Анатолий.

Скажу только несколько слов о восточном базаре, где я была впервые в жизни.

Это был настоящий пир для желудка, глаза и уха — столько новых слов: «пахлава», «чурчхела», «нуга», «самса», «манты», «куркума», «нарын»...

Это сейчас, когда тысячи мигрантов из Узбекистана и других восточных республик хлынули в Москву, понастроили свои «чайханы» и понаоткрывали магазины, эти слова понятны любому русскому.

А в конце семидесятых это была даже не экзотика, а фантастика: как будто ты попадал в книжку об Аладдине или Насреддине.

Кульминацией того дня стала поездка к Анатолию домой.

Он был разведён, жил в двушке.

Помню огромные — во всю стену — стеллажи с книгами и шкаф с образцами минералов. Мне тогда ужасно понравилась кристаллическая соль: её можно было лизать.

— Горько? — предлагал Анатолий.

— Сладко, — смеялась я.

А ещё — шампанское.

В Ташкенте свой завод шампанских вин, так что при — моём! — желании он мог бы искупать меня в ванне с шампанским.

Но мы оба понимали, что этого делать нельзя.

— А может, останешься? В Ташкенте расписывают с шестнадцати лет...

— А школа?

— В Ташкенте полно русских школ...

— Ага. И ты будешь ходить на родительские собрания?

— Буду...

— А если тебя спросят, кем ты мне приходишься?

— Скажу, муж...

...Вечером он отвёз меня к тётке.

Переодеваясь в ночнушку, я обнаружила на своём нижнем белье кровь.

— Господи, откуда? — испугалась я. — Ничего же не было!..

За два года я и забыла, что такое месячные.

### Глава 5. Геолог глобус пропил

Через три дня я уехала в Москву. Анатолий прибежал на перрон с авоськой, в которой были — нет, не дыня, не виноград, — а двенадцать красных томов Маяковского, моего в то время любимого поэта.

Больше мы никогда не встречались.

...При том, что — по факту — он не был моим первым мужчиной, я считаю первым именно его.

Он вернул мне женское здоровье, он первый поверил в мой талант, он безмерно повысил мою самооценку: в меня, шестнадцатилетнюю пигалицу, влюбился взрослый мужчина, кандидат наук, знаток русской поэзии!

Всю свою жизнь, начиная с того лета, я была уверена, что я самая красивая, умная и талантливая.

Это помогало жить.

...Конечно, был у меня *фактический* первый мужчина (кстати, вовсе не Сашка Потапов), а то ли Миша Пашин, то ли Паша Мишин.

К выражению «лишить девственности» в русском языке есть целых семь синонимов, среди которых глагол «откупорить».

Я думаю, что девушку, как бутылку, можно «откупорить», а можно «открыть». Анатолий меня именно «открыл».

Геологи, они ведь вечно что-то открывают.

А он был настоящим Геологом.

---

*Александра Медведкина*

## Там, где цветёт картошка

*Рассказ*

Аня ушла, чтоб не видеть, как бабушка раздаёт дом.

Село было таким же, как десять лет назад, а Аня боялась, что приедет сюда — и ничего не узнает. Не такое уж маленькое, зелёное, с висячим мостом, фермами на холмах и двухэтажным кирпичным клубом, Буренино лежит в оренбургской степи.

Да, дома постепенно врастают в землю, стала ниже раскоряка телеграфного столба при въезде на бабушкину улицу. Но сам дом — знакомый и родной, спокойно-синий, и комнаты тихи и тенисты; сколько одиноких игр тут было сыграно, фарфоровые звери бродили в саваннах красно-чёрного таджикского ковра, бывали спасены тонущие русалки, а волшебный громоздкий телевизор, кажется, и сейчас бы показал бразильские пляжи и пыльные пальмовые ветки, — если разбудить его хозяйским хлопком по верхней крышке.

Двор тоже почти не переменялся, только на поросший травой холм посреди вскарабкался высокий сарай, похожий серыми узкими стенками на тулуп старого пастуха. Море картошки за дальним забором, сложенным из продольных брёвен, бескрайне зеленело. И было спокойно и немного сонно. Здесь хотелось остаться. Сесть на забор, щёлкать семечки из огромного чёрно-жёлтого солнца, смотреть на картофельное море и дальние облака, собирающиеся у горизонта, как стадо молчаливых коров. Здесь вообще всё было тихо и молчаливо. Аня втягивала воздух и выпускала его, чувствуя, как внутри тоже собирается облако, растёт, растёт.

Вот цветёт картошка,  
зеленеет лук, —

вспомнились стихи, которым научил её когда-то дедушка, —

---

*Медведкина Александра Викторовна* родилась в городе Высоковске Московской области, жила в Душанбе, Тольятти, Бронницах. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького (семинар прозы, мастер — А.Н.Варламов). Печаталась в журналах «Звезда», «Нева» и др. Живёт в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

по полю шагает  
колорадский жук.  
Он ещё не знает ничего о том,  
что его поймает сельский агроном.

Дедушка научил Аню этому стишку, когда они ещё жили в Таджикистане, в Душанбе, Аня рассказывала его на каждом утреннике, выходила в центр зала. Даже если её не приглашали.

В баночку посадит, ножки оторвёт,  
Голову отрубит, — и жучок умрёт.

Соседи с самого утра шли попрощаться, и мать с бабушкой умудрялись совмещать сборы с чаепитием, время от времени — «Мань, тебе мантушница не нужна?» — предлагали гостям вещи, которые на питерские антресоли не поместятся: сервизы, кастрюли, куртки и пальто. Соседки пили горячий чай и выбирали, что возьмут.

— Маньке мантушницу? А жопу ей маслом не намазать? — Баб Зоя, спохватившись, крестила рот и протягивала руку: — Сюды давай!

Аня спустилась с дощатого крыльца босиком, но вспомнила: пол в летней кухне холодный, глиняный, — вернулась, надела бабушкины калоши, шляп-шлёп, по правую руку — ряд сараев из самана, жёлтые, тёплые, и ближайший к дому — это и есть летняя кухня. Здесь передняя с половиной печки и большая комната — там печка продолжается. Аню интересует холодная тёмная передняя, где на печи лежит старое сокровище — огромный полиэтиленовый мешок с детскими книгами. Перед тем, как придут машины, Ане надо перебрать книжки, решить, что они с бабушкой возьмут в Питер, а что оставят в Буренино. На переезд решили быстро, — вдруг нашёлся покупатель на бабушкин дом. Теперь бабушка будет жить в питерской двушке с дочерью и внучкой. Она ведь знала, что переезжать придётся, всех подруг забирали дети, уже уехала Мария в Орск к дочери, уже затребовали внуки бабушку Настю из приземистого белого домика на перекрёстке. Она тоже должна уехать.

Огромный мешок с книжками лежал на печи, как старик, повернувшийся к миру спиной. Аня встала на цыпочки и потянула его на себя. Рывок, ещё один. Наконец, мешок пополз и навалился на Аню, она плюхнулась на корточки. Мешок весил килограммов шестьдесят, не меньше. Тёмный, непрозрачный полиэтилен. Аня выволокла мешок из домика: в кухне было слишком холодно и сыро. К торцу гаража, оранжевого, как куриное яйцо, был прислонён стол, рядом стояла серая от старости скамейка, воздух был ещё тёплый, — тут Аня посмотрит книги, а потом вернётся в дом, может, тогда как раз уйдут эти все. Сороки.

Она прислонила к столу мешок, утвердила его стоймя и стала вынимать книги сверху. Вот тонкая зелёная и фиолетовая «Стрекоза и муравей». Наверное, придётся взять. Аня учится на четвертом курсе филфака, детей пока заводить

не собирается, но почему-то очень не хочется, чтобы кто-то из соседок забрал «Стрекозу».

«Не отдам», — решила Аня и принялась расставлять книги стопками по столешнице. «Чёрного котёнка», — пожалуйста, забирайте. «Близнецов из Ласковой долины» тоже решила оставить в деревне, хотя знала, что пожалеет. Можете взять и «Приключения поросёнка Фунтика», хотя нет, не можете, там картинки красивые. Даже не то что красивые, а просто Аня помнит, как читала тонкую, похожую на комикс книжку, развалившись на диване в зелёно-красной деревенской «зале», и на журнальном столике стоял синий графин с лимонадом, а в кресле рядом сидел дед и смотрел «Детектив Нэш Бриджес».

Аня опустила книжку на стол, упёрла лоб в разворот с госпожой Белладонной и так, склонившись, какое-то время молчала, потому что никакие мысли не могли переварить то, что вместе с домом оставалось позади.

Аня посматривала на небо, оно почти незаметно становилось чуть сумеречнее. Скинула калоши и слегка болтала ногами под столом, трава гладила стопы. Над некоторыми книгами Аня замирала как заколдованная и откладывала, когда понимала, что начинает читать. А читать сейчас было нельзя, надо было выбирать, что возьмёшь, а что оставишь. Читать ты могла в детстве, когда было восемь, десять, тринадцать. А теперь ты можешь забрать книги с собой, как какие-то волшебные ключи или вещественные знаки, и открывать их только когда будет совсем уж неумоготу, разворачивать их посреди стремительно несущегося бурного времени, чтобы сделать глоток и вернуть себе себя, и — снова прыгнуть в бурю.

Маленькая детская книга в толстой картонной обложке:

«Я петушок, золотой гребешок... — Так, завтра надо перемыть дом, послезавтра придут машины. — А я совушка-сова, большая голова».

Под картонной книжкой — тетради. Вот «пятилетняя тетрадь» — Аня рисовала комикс про белку. А вот «шестилетняя». Аня всё ещё оставалась в Душанбе, а мама уже переехала в Ленинград. Аня переедет только через год, когда по улицам Душанбе пойдут танки. Она будет жить с матерью в Ленинграде, дед с бабушкой купят дом у родственников в Буренино, под Оренбургом.

«Шестилетняя тетрадь» не особенно радовала надписями, в основном здесь были рисунки. «Аня и бабуля», «Рахима», — портрет единственной воспитательницы, которую Аня полюбила. Рядом — портрет дохлой золотой рыбки, — Аня хотела спасти её, но не смогла, — а затем начинались рисунки с котами.

Тетрадь пахнет жарким душанбинским летом, Аня дышит, склонившись, вспоминает: небо в Душанбе бледное, высокое, деревья стоят вдоль дорог и укутывают мерцающей тенью дворы четырёхэтажных домов; на Зелёном базаре громоздятся разноцветные горы специй, горох, нут; красивые таджички с длинными косами надевают тебе на шею бусы из фисташек и боярки; садик, полотно с кармашками для расчёсок, и на каждом кармашке — вышивка, Рахима и Ая вышивали, — опять двор, нельзя сигать через арык, Ванька из соседнего чуть ногу не сломал, там борта бетонные, — а вот волшебные синие цветы в траве

дома напротив, рядом сушатся ледяные простыни, пахнут снегом памирских вершин, а вот нежные цветы шиповника у подъезда — можно рвать, но не нужно.

Первый Анин дом. Полный тайн. Светильник, похожий на голову робота, был живым, повелительно мигал, когда Ане приходила пора ложиться; куклы и бумажные балерины тоже были живыми, а в радиолу дедушка загружал пластинки, которые рассказывали Ане сказки по вечерам.

В душанбинской тетрадке была собственно история об одном дне, просто одном особенном дне, когда Аня с бабушкой пошли к дальней родственнице, тётъ Лере. У Леры было два сына. Семи и девяти лет. Оба высокие, рыжие, у обоих внутри моторы, сидеть на месте не могут, смотрят на людей как голодные. Пока Аня и бабушка раздевались, один висел на турнике, вбитом в дверной проём, второй опирался на лыжную палку, потом их как ветром сдуло. Аня ещё удивилась, что бабушка ничего не купила из сладкого, обычно они в дом с детьми с пустыми руками не ходили. Тётъ Лера наглаживала Аню по голове, поила их с бабушкой чаем с шоколадными конфетами, а Аня тянула шею, выглядывала в коридор: что там делается в комнате мальчишек? Тётъ Лера махала рукой: «Шкоды. Ну шкоды, оба два!» Аня спросила — как зовут их. «Боря и Миша, — сказала тётъ Лера. — А ты иди к ним, поиграй, а мы тут с бабулей».

Боря и Миша были тощие, любопытные, и у обоих разные глаза: левый серый, а правый — карий. Такого Аня ещё в жизни не видела. Пацаны катали по ковру машинки, валялась у кровати коробка с солдатами всех мастей и солдатским транспортом, а сама высоченная деревянная кровать была двухъярусная, опять же Аня такой ещё ни у кого никогда не видела. Сначала она их стеснялась, но Боря и Миша взяли её в компанию.

Сначала играли, что шкаф — это тюрьма, и Миша Аню спасал, а Боря заточал, потом ей наклеили на футболку переводилку со львом, а ещё она сломала огромные прозрачные часы Борики — с разноцветными шестерёнками внутри, но он сказал, что папа починит. Миша решил, что они будут играть в осаду замка; Ане дали небольшой отряд из солдат, но всю кольчугу из фольги пацаны уже отдали своим солдатам, так что Ане пришлось пойти на кухню, чтобы попросить фольгу от «Ласточек» и «Мишек». Пока Миша учил её лепить кольчугу так, чтобы фольга не трескалась, Боря достал из тайника спички и принялся плавить спины своим солдатам и вкручивать в них провололочные крылья. Аня не представляла, как будет с маленьким отрядом защищать старую коробочную крепость, если у Бори будут страшные крылатые солдаты. Миша сказал, что тогда он будет тоже на защите крепости.

То ли запах пластика, то ли тётъ Лере материнское чутьё подсказало проверить детскую, но она страшно раскричалась и выгнала детей поиграть во двор. Правда, бабушка дала денег на мороженое. Аня выстроила своих красивых сверкающих солдат в серебряной кольчуге рядом на подоконнике, и они пошли. Только братьям во дворе было скучно.

---

*Дарья Земцовская*

## Энжел

*Рассказ*

Нике было шестнадцать, когда сестра позвала её с собой в Италию. В этом возрасте каждая нормальная девочка себя ненавидит. Волосы стали сильно жирниться у корней, бёдра расширились, округлился и вывалился из низких джинсов белый, похожий на тесто живот. Грудь перестала помещаться в подростковое бельё, а просить у матери денег на новый лифчик было стыдно. Тело источало незнакомые ей прежде запахи и казалось слишком выпуклым, просящим. Словно она вдруг начала занимать слишком много места, из-за чего сильно сутулилась.

Ника уже два года пила антидепрессанты после странной истории с осколком дорогой фарфоровой вазы, которую мать когда-то привезла из Парижа. На самом деле она не хотела умирать, она хотела проверить. Узнать, что будет, если сделать себе больно. Но ничего не случилось. Жизнь стала только сложнее: теперь мать и вовсе не спускала с неё глаз, постоянно врываясь в комнату без стука, наклоняясь низко над письменным столом, бесцеремонно заглядывая в компьютер или в телефон. Она нависала так, что Ника чувствовала неприятный кисло-табачный запах её рта, видела пожелтевшие от сигарет зубы, крупные поры на носу. Этот рот обычно говорил что-нибудь неприятное, стыдное. Брызги слюны летели на школьную тетрадку. И до того не особо счастливая, жизнь теперь и вовсе стала похожа на тюремное заключение, в которое не было шансов пробиться подругам и уж тем более парням.

«Поедешь со мной в Тоскану?» — Сообщение от сестры пришло вечером в субботу, когда мать уже мирно храпела за приоткрытой дверью (двери в доме теперь категорически запрещено было закрывать). «А это где?»

---

*Земцовская Дарья Александровна* родилась в 1991 году в Северодвинске. Окончила журфак Московского государственного университета печати. Печаталась в журнале «Юность». Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

«Ей шестнадцать, как она полетит одна? Она же у нас больная, её нельзя отпускать».

Мать часто говорила о ней в третьем лице — так, как будто её нет. Но в этот раз сестра нашла какие-то аргументы. Может, пообещала денег. Ника и сама не знала, зачем вдруг так понадобилась сестре, которая уже давно жила в Европе и вспоминала про неё нечасто. Но возможность вырваться из тисков материнской опеки, да ещё и попасть в загадочную Тоскану, казалась ей спасительной.

\* \* \*

Сестра купила билет на прямой рейс Москва — Милан. Схема была проста: мать сажала её на самолёт, а сестра встречала в аэропорту. Три с половиной часа Ника должна была провести без надзирателя в рассекающей воздух кабине самолёта. Она не боялась летать. После того, как смерть почти подержала её за руку, ей уже было ничего не страшно. Кроме матери.

В самолёте она читала «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Книга ей нравилась, хотя в ТикТоке её считали душной. Этот Хитклиф казался нудным типом, настоящим абыюзером, но воображение рисовало его тёмные кудрявые волосы, как у парня из параллельного класса. Думать о нём было приятно.

Стюардесса наклонилась совсем близко, так, что Ника могла чувствовать сладковатый её запах, похожий на чёрный чай с сахаром. На секунду мелькнула мысль попросить вина, как взрослой.

«Э гласс ов уотер, плиз».

От антидепрессантов Нике постоянно хотелось пить и спать. Мучительная зевота не оставляла её с утра до вечера, но она знала, что, даже если ляжет, — уснуть всё равно не сможет. На посадке думала о сестре: она не видела её несколько лет и теперь нервничала, как перед любым контактом с незнакомым человеком. Изменилась ли, как себя будет вести, что говорить? С ней в каком-то смысле было всегда легко: она заполняла собой пространство, вела себя уверенно и даже вызывающе — рядом легко затеряться, нужно было просто приладиться к ней, как удачный аксессуар к дорогой сумочке. И тогда всё будет хорошо.

Сестра ждала на выходе — у зоны выдачи багажа: в белых льняных брюках и блузке, под квадратными тёмными очками блестели скулы в румянах. Увидев Нику, она схватила её за руку, не переставая что-то громко болтать то ли на итальянском, то ли на румынском — Ника поняла, что сестра говорила по телефону.

Только сев в крошечный фиат, она наконец-то сняла очки.

— А ты здорово вытянулась! Какая грудь. Лифчики уже носишь? — Сестра потянулась к ней густо накрашенным ртом и слегка коснулась щеки. — Чао, белла! Ты чё такая хмурая, чёрт возьми.

Всю дорогу до города она болтала без умолку об их планах. Как они возьмут машину и поедут в Рим, а оттуда на ферму на Тосканском побережье. Ника слушала вполуха, глядя, как за окном мелькает непривычный пейзаж. Когда они подъехали к двухэтажному дому, усыпанному от крыши до чугунной калитки мелкими розовыми цветами, сестра, резко затормозив, повернулась к ней:

— Мне нужно тебе кое-что важное сказать. Мы будем не одни, — она положила руку Нике на колени. — У меня есть любовник. — Это прозвучало так буднично, как будто она рассказала, что завела собаку.

В машине повисла пауза. Ника, убаюканная долгой монотонной дорогой, вдруг проснулась.

— Чего?

— Да, любовник. А что такого? Могу себе позволить. Думаешь, Чиботару мне не изменял? — Она всегда называла мужа по фамилии, будто он сотрудник в её компании, а не отец их общих детей. — Он изменяет мне направо и налево. Сначала секретарша, потом эта... девка с телевидения. Я даже с психологом это обсуждала — имею полное право на свой собственный маленький адюльтер.

От осознания, что этот отпуск будет совсем не похож на то, что она себе представляла, Нику медленно накрывала паника. Любовник? Какой-то чужой взрослый мужик, с которым ей придётся провести целых две недели. И как ей потом смотреть в глаза мужу сестры?

Как же она влипла.

\* \* \*

— Ты совсем не красишься. Почему?

Утром сестра, как обычно, крутилась у зеркала, закалывая свои пышные кудрявые волосы невидимками.

— Иди сюда, покажу кое-что. — Она достала из косметически кремовый карандаш для губ. — Нужно вести линию чуть выше края, так они будут казаться полнее.

Она настойчиво водила карандашом по Никиной коже. Потом расстегнула ей верхнюю пуговицу на блузке.

— Ник, ну ты как монашка. У тебя ещё не было секса?

— Отстань.

Любовника сестры звали Альфредо. Это был двухметровый тучный итальянец лет пятидесяти с чёрными густыми волосами до плеч, серебрившимися у корней. Он плохо говорил по-английски на радость Нике — меньше всего на свете ей хотелось общаться с этим громким мужчиной, от которого разило одеколоном и табаком.

За завтраком обнаружилась ещё одна неприятная деталь: Альфредо был не один, а с сыном. Пятилетним мальчиком с большими испуганными глазами под густой чёлкой.

— У Леонарда отпуск с папой, — сестра уловила её недоумение. — Он ещё маленький и совсем не будет нам мешать.

В полдень все загрузились в фиат: Ника с Леонардом, как дети, оказались на заднем сиденье. Ника демонстративно отвернулась к окну и заткнула уши эйрподсами, давая понять, что собирается провести эти пять часов дороги в тишине. В груди разливалось поганое чувство, похожее на изжогу, — она не знала, как себя вести, о чём говорить и как вообще терпеть эти дни в обществе незнакомых людей.

Альфредо не соврал — Леонард и правда никому не мешал. Это был самый тихий ребёнок, он послушно плёлся за отцом, стоял и сидел там, где ему велели, постоянно кусая руки. Изредка что-то тихое и невнятное говорил на родном языке, на что отец реагировал эмоционально, взмахивая руками. От его голоса у Ники закладывало уши, и она мысленно пообещала себе никогда не учить этот безумный язык.

Несколько дней они провели в Риме: ездили на красном экскурсионном автобусе, стояли в очереди в Ватикан и глотали джелато. Сестра купила Нике широкополую шляпу, но плечи всё равно быстро сгорели. Большую часть времени Ника читала или слушала музыку — Эмили Бронте она таскала с собой. Влюблённых этот расклад устраивал — они то и дело останавливались, чтобы сделать селфи или поцеловаться на фоне Пантеона. Ника старалась не смотреть на их липкие губы, похожие на влажные тела улиток под дождём. Ей было мерзко. Зато над ними, среди бесконечных статуй, фонтанов и колонн, разворачивался удивительной сказочной красоты город, каких она никогда раньше не видела. Если Ника когда-нибудь и фантазировала о рае, то он должен был выглядеть так.

На ферму приехали под вечер, когда розовое небо уже растеклось у горизонта оранжевым, а у самой земли было так темно, что не видно сандалий. Их встретила маленькая пожилая итальянка — дальняя родственница Альфредо. Минувя взрослых, она взяла Нику за руку и что-то долго говорила, пока та мотала головой.

— Сори, ай ду нот андерстэнд йу.

Но женщине, похоже, было всё равно. Она улыбалась, как будто даже хитро, как будто всё про неё понимала.

У Ники была своя комната на втором этаже, напротив сестры. Узкая, как прихожая, но с широким окном с деревянными ставнями и большой кроватью, на которой заботливо было постелено свежее, почти белоснежное бельё. Дверь комнаты была похожа на ширму и открывалась, складываясь. Ника высунулась в окно — прямо напротив, совсем близко, на дереве висели настоящие лимоны. Она протянула руку и коснулась их шершавой кожицы.

\* \* \*

Ферма просыпалась рано. В пять утра уже кричали петухи и Мафальда (так звали хозяйку дома) громко стучала посудой. Дни были почти одинаковыми: сначала завтрак с омлетом, помидорами и прошутто в столовой внизу, потом поездка на пляж в старом фиате, купание в море, похожем на парное молоко, послеобеденный отдых и вечер за играми в карты под стрёкот цикад в саду. Самыми неприятными были часы после обеда: сестра с Альфредо поднимались наверх, и за тонкой ширмой начиналась возня.

Ника и Леонард оставались за круглым столом внизу. Это было их «детское» время, предлагалось включить телевизор или почитать книжку. Все словно забывали о том, что они оба не говорят на языках друг друга.

Андрей Неброцкий

## Необычайно белый день

\* \* \*

Увидеть разницу, как дышит снег  
и первый снег,  
чтоб разгадать загадку.

Когда ноябрьским вечером со всех  
сторон бесцветности грядут осадки.

Как пёс в лицо, с негромкой хрипотцой  
дыхания,  
лизаться снег ползёт  
(в закрытое ладонями лицо):  
взволнованный, соскучился.

И если,  
прищурившись, сквозь пальцы подсмотреть  
за снеготанцем,  
то увидеть можно  
крутую лестницу, которая на треть  
уходит в облака, и как похожи  
её ступени на слова:  
сперва — *покой*,  
потом — *знакомство*,  
третья — *впору*;  
над ними — *выбрать, гнаться, миновать*;  
цепляет облака седьмая — *скоро*.

Восьмая же похожа на разгадку.

---

*Неброцкий Андрей Олегович* — поэт. Родился в 1991 году в городе Брянске. Окончил Брянский государственный технический университет по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Работает оператором электроэрозионного станка с ЧПУ. Публикации в региональных сборниках и альманахах: «Новый век», «Феникс», «Литературный Брянск» и др. Живёт в Брянске.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

## Напоминание

Срезая путь через дворы,  
случайно в дымовой завесе  
сентябрьской тлеющей листвы,  
с себя две трети жизни срезать.

Точнее — сделать кувырок  
сознанием туда, где полдень,  
под головой рука, урок  
(какой-то нудный, что не вспомнить).

Где приоткрытое окно  
благодаря горшку с геранью  
не закрывается — оно  
разносит горький запах гари

по кабинету и всему,  
что назовётся ломким, лёгким;  
что по случайности в дыму  
пахнёт пугающе далёким.

\* \* \*

Ах, сколько ни измучивай себя,  
но послесмертия не вспомнить.

Старуха мне советовала: полночь  
поймать руками, словно воробья,  
держат как можно ближе и плотней  
обхватом поперечным и продольным —  
тогда когтями полночь на ладонях  
начертит карту памяти моей.

Однажды, пытаясь пораньше уснуть,  
я думал: когда я умру,  
безвольно придётся мне стать чем-нибудь  
далёким себе самому.  
Возможно, осинкой, осокой, окном  
и даже бездельно у стен  
блуждающим, вытянутым сквозняком —  
когда-нибудь в степени *n*.  
Снежинкой, потерянной в первом снегу,  
угасну и дрогну водой;  
в пучине безумного неба зажгусь  
почти незаметной звездой...

Стараясь вне срока и со стороны  
осмыслить несносный мотив,  
в котором становятся чем-то иным,  
чтоб в новый врати коллектив,  
я вспомнил старуху — о карте слова —  
и, вслушиваясь в тишину,  
стал полночь ловить, но, когда к ней едва  
притронулся, — в сон соскользнул.

...речным валуном, опустелым гнездом,  
остатком железной трубы,  
болотистой почвой, ракушкой вверх дном,  
рассеянным эхом судьбы.

\* \* \*

Заметить. Невзначай заметить  
необычайно белый день:  
в цвету сирень, играют дети,  
дубок вскипает возле стен  
полузаброшенной котельной,  
и чёрный кот из-под кустов  
глядит на галку, что без дела  
сидит на дубе молодом.

А выше, выражено так же,  
по-пушкински, — издалика,  
как тридцать витязей отважных,  
плывут неспешно облака.  
Плывут, как будто в небе вязко,  
как будто тоже видят след  
страницы, выпавшей из сказки, —  
на всём, чего коснулся свет.

Заметить. Белый день заметить,  
цветущий ярче и ясней  
в невыразимо нежном свете  
среди таких же белых дней...  
И всё запомнить — осторожно  
забрать себе хотя бы часть  
живого дня, его возможность  
повсюду сказку замечать.

*Андрей Монастырный*

## Звездопад

*Рассказ*

День был испорчен с самого утра. Пронзительно-синий, ностальгически-жаркий августовский день. В семь ноль ноль позвонила тёща: звездопад, она слышала по радио, будет сегодня ночью, наши дети, её внучки, никогда не видели... Ладно.

Жизнь с тёщей не задалась с первого дня. Жизнь — в её широченном смысле. Сама-то уважаемая (и даже где-то дорогая) Надежда Ивановна сразу после нашей свадьбы-трёхдневки отчалила на последней электричке в свой Кирилломефодиевск оплакивать в холодную вдовью подушку большое дочкино счастье и мешать молодым «тонуть друг в дружке» совсем не собиралась.

Тёща появилась на пороге нашего «райского шалаша» утром, когда воздух спальни был ещё до потолка наэлектризован грозowymi разрядами первой брачной ночи, второй дубль которой мы с Алёнкой почти собрались запустить («мотор! снимаем!...»):

— Соскучилась.

И вслед за укоризненным легато моей юной и прекрасной, истерзанной страстью и бессонницей супруги («ну-у-у-у-ма-а-а-ма-а-а-а!») моё коровье (телячье? бычье?) мычание:

— М-м-м-м-м... Надежда Иван-на!..

За десять лет назвать тёщу мамой так и не смог. Даже заочно. Жена сначала добродушно подсмеивалась, потом, глядя на мои потуги, задумчиво щурила глаза, потом откровенно и зло смеялась в лицо, разговаривая с излучающей заботу и понимание («самой идиот попался!») воскресной подружкой:

— Он у меня прям младенец-переросток, страдающий ЗПР: никак «мама» говорить не научимся. К логопеду, что ли, сводить? Или к психиатру?

Я пытался оправдываться, в душе понимая, что оправдания такому преступлению просто нет.

---

*Монастырный Андрей Алексеевич* — учитель истории в двух сельских школах. Родился в посёлке Куликово Архангельской области. Окончил Балашовский государственный педагогический институт. Печатал стихи в «Литературной газете», журнале «Подъём» и в других изданиях. Живёт в Воронежской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Я же называю твоего отца папой, Сергей! — возмущённо недоумевала, звеня грязными тарелками на кухне, Алёнка, и от официально-процессуального варианта своего имени я вздрагивал, как от звонкой пощёчины.

В ответ «бессовестный» муж бормотал что-то о том, что у неё-то нет родного отца (брови жены вскидывались вверх двумя вопросительными знаками) и потому называть Петра Алексеевича папой для неё вполне естественно; что мама у человека одна — та, что его родила, лечила от скарлатины, кори, ангины, ветрянки, вкалывала, как папа Карло и мама Чоли, на двух работах, когда сын учился в институте, ночей не спала, когда...

В общем, разговор был пустой и бесполезный, и короткое слово «мама» так и застревало у меня в горле длинной острой костью даже после вкуснейших тёщиных блинов («блин!»)...

А день и правда обещал блаженную тишину под всё ещё высоченным (или всё же бездонным?) небом, на котором пока не видно...

— Па, а звездопад будет видно? А когда будет видно? А ты видел звездопад? А что такое «з звездопад»? А они падают на землю? А почему они падают на землю? А мы сможем их собрать? А почему нет?

В общем, под градом вопросов, сыпавшихся на меня из набежавшей откуда-то тучки-почемучки Даши, я чувствовал себя бедным мультяшным медведем в компании невыносимо-назойливой Маши («а там клюёт? а где клюёт? а кто клюёт? а зачем клюёт?»).

— Алёна, дай ребёнку каши! Какой-какой... Звездопадной!

Но никаких звездопадных каш в Алёниных кастрюлях и кастрюльках отродясь не варилось, и потому мне оставалось только терпеть и надеяться как-то дотянуть до этого... метеоритного дождя.

— В тебе романтики нет, — заезжая ложкой-грузовиком в Дашкин разинутый рот-гараж, вынесла свой суровый приговор помощник районного прокурора Алёна Константиновна. — Это же красивое зрелище — звез-до-пад! А ты — «метеоритный дождь, метеоритный дождь»! А ещё художник! Поэтическая натура! Сухарь ты ржаной! Почему ржаной? А ржёшь потому что! Ржёшь и в зубы не даёшься!

«И в зубы не даю», — но это уже про себя, говорить такое вслух жене я бы не рискнул.

А день таял на глазах, как эскимо, забытое кем-то на скамейке в парке, и вместе с ним таяли остатки моего совсем не божественного терпения.

— Спокойствие, только спокойствие, дело-то житейское, как говаривал гражданин Швеции Карлсон. — Демонстрируя это самое спокойствие всем своим видом и невозмутимо вылавливая тапочки и тюбики с краской из надувного бассейна («а вдруг, пап, звёзды упадут в озеро?»), пыталась остудить моих дышащих серой и огнём демонов Алёна. — А вот, кстати, и он. Точнее, они!

Тапочки и тюбики плюхнулись обратно в воду, взвизгнула от испуга входная дверь, и голос жены, «взлетая выше ели», уже звенел в детской комнате пожарной сигнализацией («смотрите, смотрите в окно! скорее!»).

Да, посмотреть, действительно, было на что. «В небе парила перелётная птица». Точнее, три. А ещё точнее, три парaplана. С моторчиками. Как у Карлсона. «Он улетел, но обещал вернуться». Улетели и они, медленно снижаясь. Скатертью дорожка! Или, как там у них? Семь подушек под попу?

— Мама, это был звездопад? — думать о чём-то другом Дашка, похоже, сегодня не могла.

— Конечно, звездопад, дочь! — Алёнкины глаза грозно сверкнули поверх двух высунувшихся в окно трогательных макушек, но меня уже во всю несло:

— А почему бы и нет? «Звёзды шоу-бизнеса» падали с неба в нашу заросшую лебедой глухомань. Басков, Лазарев и Филипп Киркоров! По дороге сюда концерты давали. Как кот с пёсиком в мультике про волшебное кольцо. Ага, в том самом. «Летели-и-и, летели-и-и...»

Из раскрытого окна в меня полетела возмущённая туфля: мимо.

— Ладно, пошутили и будет. Это, дети, уже из другой сказки. Про доброго принца и злую Золушку.

Вторая туфля попала мне между лопаток. В спину!..

День, окончательно загубленный тёщей («чёрт бы побрал её вместе со всеми метеоритными ливнями!»), насквозь пронизанный светом августовский день, быстро угасал, уже просыпав из ослабевшей руки на потемневшее небо звёздную пыль. Надо было спешить, чтобы успеть получить от умирающего хотя бы последнее благословение — драгоценную охру роскошного заката. Надо спешить!..

— Пап, пап, а звездопад скоро? — выскочившие на улицу дети запрыгали вокруг отца, прильнувшего к мольберту, как сатиры вокруг Диониса.

— Черти! — вопил я, почти со слезами на глазах глядя на тонущее в багровом озере светило. — Черти вы! Безрогие!

— «Прибежали в хату дети, второпях зовут отца», — прокомментировала происходящее присоединившаяся к скачущим вовсю («вошли в роли!») Дашке и Насте Алёна. — Не чертыхайся, отче! Отлучим от ужина!

— Ну, хоть кому-то весело. — Руки горе-художника безвольно упали, и два чертёнка повисли на нём, как змеи на обречённом Лаокооне. — Здаёмсу!

Звёздное небо над нашими задранными головами («где он? где?») стало одновременно и темнее, и ярче, словно чья-то невидимая рука смахнула тонкую полупрозрачную бумагу с огромного листа старинного фолианта. Боже! «...Что есть человек, что Ты помнишь его?..»

Дашка, говорливый любознательный гномик, скоро устала вглядываться в густую россыпь потенциальных звёздных градин, которые никак не хотели пролиться в её вытянутые вперёд ладошки-лодочки («святая простота детства!»), и вовсю занялась примчавшимся из-под ворот соседским щенком, маленьким и тщедушным, но названным парадоксально (на вырост?) Шерханом (я-то сразу окрестил его Табаки!). Табаки визжащим на поворотах болидом нарезал тонкими ломтями сгустившуюся вокруг наших ног темноту, а в небе по-прежнему было безоблачно и сухо, и только Алёне, упорно не отвлекавшейся на все проделки

собачьего шумахера, дважды удалось загадать заветное желание («нового мужа-несухаря?»).

— А что ты загадала, мам? — зевая и часто моргая, десятилетний романтик Настя, по-видимому, желала сейчас только одного: не заснуть.

— Нельзя говорить, что загадала, доча, а то не сбудется, — нащупав в темноте Настину макушку, Алёна положила на неё свою маленькую и тёплую в любое время года ладонь. — Но это «что-то» связано с твоим папой («сухарь! большой чёрствый сухарь!»)...

Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, на брошенном прямо на землю матрасе и наперебой считали падающие звёзды, уже не имея никаких желаний. Дашка и Настя, сопя разукрашенными рыжими веснушками носами, давно смотрели в своих кроватках цветастые, как цыганская юбка, десятые детские сны.

— А помнишь, когда мы с тобой последний раз вот так же лежали всю ночь... под распахнутым небом и «тонули друг в дружке»? — прикрывая маленькой тёплой ладошкой рвущуюся наружу зевоту, жарко шептала мне в ухо Алёнка. — И кто на утро примчался на первой электричке, потому что... «жутко соскучилась»?

Несколько долгих секунд я молчал, будто что-то пытался вспомнить, а потом судорожно вдохнул прохладный ночной воздух, словно вынырнул с огромной гребельной глубины. И тихо выдохнул в такое близкое, но почти невидимое лицо:

— Мама...

*Николай Александров*

## Щенок

*Рассказ*

Я ехал на дачу, без спешки, элегантно вычерчивая каждый поворот, наслаждался пьяным июньским ветром, с удовольствием, с душой планировал мелкие дела: поправлю замок в баньке и перед ужином разомнусь с дровами, чтобы потом свежим, бодрым, исполненным собственного достоинства сесть к столу. И главное — закуски. Их никому не доверю. Тоненько-тоненько,

---

*Александров Николай Александрович* — писатель, руководитель Издательского дома «Историческое наследие Сибири». Родился в 1955 году в г. Болотном Новосибирской области. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького (1991). Автор многих книг, в т.ч. «Венькина свадьба» (1991), «Золотой огонь Салаира» (2024), «Осколки» (2025) и др. Живёт в рабочем посёлке Колывани Новосибирской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

кружочками нарежу солёные огурчики, постным маслом окроплю, добавлю мёда, уксуса, лука салатного — и утоплю, утоплю всё это в соку до изнеможения. И грибочки — положу в тарелку груздочек, три волнушки и пару рыжиков, немного опят и лисичек и искупаю всё это в сметане. И — на стол.

— А не желаете ли, Николай Саныч?..

Но вот впереди, возле самого поворота к моей деревне, остановился «Москвич», старенький такой, неуклюжий синий «Москвич», открылась дверца, и из салона на обочину выкатился щенок с белым несуразным пятном на груди, точно Господь смеялся, когда всё это рисовал, и кисточка у него дрожала. Щенок быстренько присел по делам и бросился в траву, запутался, кувыркнулся через голову, облаял кого-то в сердцах и понёсся дальше. Я аккуратно съехал на просёлок, притормозил, опасаясь, как бы щенок по дури не кинулся под колёса, и вдруг дверца у «Москвича» захлопнулась, и он отъехал, оставив только облачко выхлопных газов, точно воспоминание, которое тут же и рассеялось. Вот так!

А щенок даже не сразу заметил, что его бросили, не сразу он это понял, долго возился с каким-то сучком, потом только поднял голову и удивился, побежал к дороге, — хвост дрожит, виноватый такой хвост, дескать, не со зла я, заигрался, забегался, простите. А некому уже прощать-то, некому. Я остановился, нашёл в пакете кусок какой-то колбасы и поманил рыжего, а тот долго не отзывался, сидел и месил песок на обочине своим дурацким хвостом, но потом подошёл, поводил носом по штанам, чихнул от души и поглядел на меня с любопытством.

— А ты поешь, пацан, лучше поешь, ты не чихай, ты поешь, в таких делах закусить — это первое дело, а потом уже чихай во всю вселенную, во все ноздри чихай, на всех чихай, — предложил я.

И главное, я сразу стал извиняться, всё пытался объяснить ему, что по сути мужик-то я нормальный, но с проблемами:

— Ты понимаешь, понимаешь, — говорил я, — я бы взял тебя, но у меня уже есть собака, вот ведь что, догиня у меня, лошадь такая здоровая, и ещё тёща, понимаешь?

А рыжий посмотрел на меня вдруг с удивлением, вроде того: «Ты о чём, старина? Забудь, я же не просил». Прикопал колбаску и ушёл к дороге, уселся возле своего столба и замер. Я вернулся к машине, с капризами запустил двигатель и поплёлся по просёлку, точно провинившийся школьник, вылизывая каждую ямку, каждую пупочку, и всё время оглядывался и извинялся перед рыжим: «Ну не могу я тебя взять, ну не-мо-гу, у меня догиня, до-ги-ня, жена, дети, — кого только нет. — Я от досады бил ладонью по рулю: — Даже тёща есть, — что там догиня. Представляешь, у меня даже хомячок есть, у меня есть хомячок, спроси у кого-нибудь — на хрена этот хомячок нужен, но он есть, и его как бы любят, ты понимаешь это или нет?» И постепенно мне стало казаться, что он меня понял, он давно понял меня. Давно.

А вот дома я не стал ничего объяснять — нечего мне было уже объяснять. Женщины и так всё увидели: дочка поцеловала, жена поставила ужин, и они исчезли, они знали, что сейчас мешаться не нужно, не знали почему, но знали, что не нужно, — и всё. Мы ру-у-сские, мы правосла-а-вные, самый трепетный

народ в околотке, ушлый такой, но очень трепетный, — барахло всё, тряпье и досада. Я никак не понимал, ну что ж меня так завело-то, что так бесит? То ли то, что там щенок один и ждёт? Или то, что я такой же, как все, и всего дождался? И главное, сам себя успокаиваю: «Ну что там щенок, — стариков бросают, младенцев». Да, я такое успокоительное нашёл, такое вот успокоительное принимаю и даже не смеюсь. Но ведь сам же, сам же ведь недавно с ментом разговаривал на днях. Пил пиво в тенёчке, с газеткой, пристойно, с душой. Подошёл сержант:

— Извините, — говорит.

— Ну, пожалуйста, — отвечаю, — я в газетку пиво завернул. Можно меня оставить с пивом и с покоем?

А он замялся, он застеснялся.

— Я ж не об этом говорю, хотел спросить, где пиво покупали.

Я показал, он взял два пива и вернулся, ножик попросил, чтобы крышку сбросить. А я вижу, руки-то у мужика трясутся. Здоровый такой сержант, грузный, лет сорока. Он сам как бронежилет, и трясётся.

— Дежурил ночью, — говорит, — остановился возле помойки, чтобы нужду справить, а там прямо в коробке, в объедках, ребёнок. Я чуть не помочился на него, представляете? То есть они вернулись из роддома, отметили, сложили всё вместе с бутылками в коробку и вынесли. И одеялыце — тонюсенькое, больничное. Вы что-нибудь понимаете?

И вдруг у него мобильный звонит, и он улыбается, жена, говорит, разрешила взять, — раз я нашёл, значит, мне тащить положено. Правильно?

Конечно, правильно, конечно, правильно, но только где же эта грань-то, где же она, за которой уже неправильно? Ведь с кого-то же она начинается? С кого-то же начинается этот рубеж: с жучка, с хомячка, с котёнка? Где-то же есть эта линия, за которой уже всё равно, всё равно и всё неправильно? Должен же там стоять какой-нибудь знак?

Утром я, как мальчишка, украл еды из холодильника, спрятал в портфель и уехал на работу, а рыжий уже проснулся, он уже сидел на посту возле своего пограничного столба и смотрел на дорогу. Я подозвал его:

— Ну что, бабанька, не одумался ещё, не остыл? А я вот тебе подстилочку подтибрил, полежи вот, погрейся.

Рыжий посмотрел на коврик без восторга, мотнул башкой, взял курочку и пошёл к своему столбу, точно честный солдат, равнодушный к пропаганде супротивника.

— Ну, извини, извини, чем могу, — я даже обиделся, — давай, давай, давай, чеши, чеши. Ты же — Рыжая Пенелопа! Ты же пижон! — Я сел в машину и уехал.

А вечером вновь обнаружил его возле того же занюханного столба с этим знаком. Он сидел совершенно недвижно, и только уши что-то чутко ловили в воздухе, а когда вдруг появлялась синяя машина, он подпрыгивал на всех лапах, катался по песку и визжал от восторга, машина исчезала, и он снова замирал, без отчаяния, без воя, просто замирал и продолжал слушать неведомую даль.

— Слышь, Рыжан, — я взял его за холку. — Ты бы уже как-то успокоился, а? Ты уже всех достал здесь, сосредоточься как-нибудь, прикинь хвост к носу, никто за тобой не приедет, ты в это врубаешься или нет? Ни на синей машине, ни на белой, и даже с алыми парусами за тобой никто не приплывёт. Беги в деревню, в деревню беги: там таких, как ты, — банда, мафия. Погавкаешь годик у магазина, потом забуреешь, будешь лежать на солнышке — дань собирать.

Мне понравился мой план, я даже дверцу открыл:

— А хочешь, подвезу? Поехали!

Рыжий перестал трепать колбасу и, взглянув на меня, развернулся этаким козырем, ну вроде бунтующего кошака, и пошёл к дороге.

— Ну всё, всё-всё, сдаюсь, — не выдержал я. — Поехали, я усыновляю тебя. Пёс с ней, с этой догинею, будут три придурка: ты, догиня и хомячок — по кредитной линии.

Я взял его на руки и попытался посадить в машину, он даже зарычал, он зарычал, он вырвался, пустился бегом к своему столбу и замер. Ну «щ-щенок»!

А дома меня всё-таки прищучили, помянули и пропавшую курочку из холодильника, и моё невнятное настроение вспомнили, и устроили перекрёстный допрос с пристрастием. Пришлось во всём сознаться. Дочка обрадовалась:

— Папочка, так давай возьмём его, он будет играть с нашей Багирой, она будет за ним ухаживать, мыть его, жалеть. Поехали, поехали, прямо сейчас поехали. — Она даже курточку успела накинуть.

— Никуда мы не поедem, щенок будет сидеть, где сидел, вот пока... пока... и всё, — решил я.

— Ну правда, Коля, съезди, забери щенка, ну что ты упёрся-то? — поддержала дочку жена.

— Не я упёрся-то, это он упёрся, вот в чём дело, это он сидит возле своего столба второй день и ни гугу, я ему и «пожалуйста», и «здрасьте», и курочку, и машину, и эскорт, — а он рычит, и всё. Вот это понимаешь или нет, вот ты это хотя бы как-то понимаешь или нет?

— Конечно, понимаю, Коленька, ну что же здесь непонятного? — она погладила меня по голове. — Я ж возле тебя, как возле того столба, тридцать лет просидела, и ничего, а тут два дня, два дня — это не срок, это даже не пятнадцать суток.

— Да, папочка, — вдруг выпрыгнула дочка, — вот вы все такие — мужики, сделаете что-нибудь нехорошее, а потом мучайся с вами.

— Ну ты-то! Ну вот ты-то что встречаешь? — возмутился я. — Может, там баба была, в этом «Москвиче», может, это баба щенка выбросила, при чём тут мужики?

— Женщина бы не выбросила, — решила жена. — Утопила бы, усыпила бы, — что угодно, но не бросила бы.

— Ну всё, договорились, я ушёл.

Наверное, неделю я возил рыжему завтраки, потом покупал что-нибудь в городе вечером. Он с благодарностью вытирал свой мокрый сытый нос о мои ладони, но в машину не садился, не повезло мне с машиной — она у меня чёрная,

а не синяя. И вдруг однажды я не нашёл щенка на дороге, не было его, я пробежался по обочине, по полю, свистел — никого. Ну убили же собаку, а? Задавили же собаку, вот ведь что! Почему-то только мрачные мысли приходили в голову, а я всё метался, бегал по обочинам и пытался найти раздавленный трупик, пока не увидел на столбе объявление. Подошёл и прочитал.

«Найден щенок, совсем ещё юный мальчик, брошенец или потеряшка, рыжей масти, со светлым пятном на груди, очень добрый и отзывчивый. Люди, помогите, — ему не прожить на этом свете с таким характером, он всё время верит, надеется и ждёт. Анна». И номер мобильного телефона.

А рыжего этого я нашёл в тот же день в палисаднике нашей недалёкой соседки и вспомнил: её действительно звать Анна и, по информации моей тётки, от неё с месяц назад ушёл муж — смешной такой парень, он каждые выходные игрался в огороде с вертолётками на радиоуправлении — огурцы опылял. Я даже как-то раз подслушал женские инвективы в его адрес: Анна жаловалась моей тётке, дескать, как нехорошо, что мужик с вертолётками по огороду носится, да ещё на глазах честного народа. Я, говорит, понимаю рыбалку, даже пиво с футболом, — у мужика что-нибудь должно быть для дури, но вертолётки — это как-то неудобно. А тётка её успокаивала, дескать, пёс с ним, хозяйство в порядке, пусть играет, лишь бы в лес не бегал, а чем эта рыбалка заканчивается, — это тоже не хобби.

«Так это же обидно, Мария Андреевна, это же обидно, когда вертолётки предпочитают тебе и всему остальному, — это же трагедия», — жаловалась Анна.

«Трагедия, детонька, это когда он тебе скажет, что у него, кроме тебя, ничего и никого нет, — вот это уже полная пьеса».

А Рыжик узнал меня, оставил в покое свою косточку и подошёл поздороваться, а потом на крыльцо вышла Анна, и он со всем усердием бросился к ней. Она села на ступеньку, он устроился у неё под рукой, и они вдруг замерли, вглядываясь в просёлочную дорогу и ещё куда-то в даль, самую что ни на есть даль.

Я вернулся к машине. Вот только откуда же такая досада-то, а? Конечно, предательство — это маленькая такая блажь, маленький, маленький такой каприз с большими последствиями. Ну хорошо же всё кончилось. Все нашли друг друга. Откуда же досада-то? И, самое главное, чем же она взяла-то его, эта Анна? Что же такое она ему сказала, что он пошёл с ней? Вот ведь где заноза-то, а! Вот заноза-то!

*Нелли Зайцева*

## Рассказы

### *Как мы фиолетовый чуть не съели*

— Выходи, зверёныш, — слышится снаружи, из-за скатерти.

Я — молчок. Мама задирает скатерть, дырявит мой герметичный мир, вижу вначале только запчасть — ноги в зелёных носках, на мизинце — созвездие из дырочек, а после и всю маму в позе лягушки: шорты на завязках, майка сморщилась на животе, голые бледные ноги в растопырку, волосы скручены сверху кулачком, пара прядей вздыбилась, рвутся из причёски. Мама делает шажок, упирается лбом в край стола и носком заступает за черту фломастера: линию от ножки до ножки.

— Это вторжение! Ты незаконно перешла границу! — кричу я и мягко давлю на мамины коленки. Те заострились воинственно, выпятились за черту. Мама не покачнулась, не отпрянула. У меня жжёт в горле, из него лезут шипучие слова: — Я жжже просила не ссусывать! Огородила себе уголок, это моё! — кричу я, скалю зубы, устрашающе рычу.

Будь я взрослой, вытолкнула бы и не миндальничала. А когда ребёнок, — приходится распугивать, упрасивать, упрямяствовать и реветь в крайнем случае.

— Какой же я король подстойной провинции, если слово моё вот так, коленками нарушить, можно! — возмущаюсь я и снова давлю на выступающие пики.

Мама теряется от слов, но интересуется другим:

— Вижу, ты уже поела, обед можно не готовить. — Вроде спрашивает она, но, подпольно, осуждает. Она строго оглядывает моё лицо, особенно там, под носом, а потом сразу полупустые баночки сбоку: цветные контейнеры в два ряда до белых дырок съедены, самый невкусный цвет — фиолетовый — целым остался. Я закрываю ладонью всё подносное пространство, пытаюсь стереть улики, кожа впечатывается в густую краску, подношу ладонь к глазам — вся в серо-коричневых пятнах. Ела сначала жёлтый, потом красный с зелёным, всё смешалось, и вот — не краска, а грязища.

— Могу с тобой фиолетовым поделиться, — иду на мировую.

— Угощусь, — неожиданно соглашается мама, всё ещё в лягушке. — Можно с тобой поем?

---

*Нелли Зайцева* — прозаик. Родилась в г. Лебедяни (Липецкая область). Автор книги «До встречи на Сириусе» (Азбука, 2025). Печаталась в журнале «Юность». Живёт в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Мои брови сводятся, образуют рытвину посередке, немного скалю рот одним боком.

— А документы есть?

Мама шлепает себя по карманам, по ногам до самых носков, щупает в волосах, в подмышках, а потом широко разводит руки, показывая пустые ладони. Я злюсь, но ползу в кабинет — самый правый угол провинции, тут листочки, ручки, тетради, чтобы документы выдавать. Беру чистый бланк, закрашиваю ребро кулака чёрным фломастером, шлёпаю печать с размаху и отдаю маме.

— Всегда бери с собой. Запоминай порядок: сначала подходишь к столу, я сверяю ноги, понимаю, кто такой. Затем под скатерть пропихиваешь документ. Я рассматриваю, но недолго, потом говорю «добро пожаловать», и только после этого заходишь ползком. Поняла? — придавливаю я маму тяжёлым взглядом. Та кивает.

— Залезай, — одобряюсь я.

И мама вползает в подстрольную провинцию. Я достаю ей подушку под попу, она садится, но как в норе лилипута: наклоняет голову, крючит спину, майка суксилась в сплошную гармошку. Есть у взрослых свои неудобства.

Мама рассматривает мой горный хребет из пластилина, сверху камушки, стёклышки, бусинки. Горы оплетают провинцию с трёх сторон, закрывают щёлочки между полом и краем скатерти. Мамин подбородок поворачивается левее — там лес из сухих трав: папа их в чай собирал, зимой недосчитается, ещё чуть левее — озеро из блюдца с голубоватой водой, на дне ракушки, песок. С ним рядом — поле подсолнухов, сверху посыпано семечками. В шаге от поля — бумажные домики друг за другом, в жёлтый покрашены.

— Как называется это место?

— Знаешь такой остров — Сардиния? — начинаю я издалека, дожидаясь маминого кивка и продолжаю: — А это версия в миниатюре — Сардинки.

— Красиво! А когда фиолетовый есть будем? — спрашивает мама.

Вот пристала! Сама ругала за краскояденье, теперь фиолетовый ей подавай. Становится стыдно, что я ей самый невкусный оставила, и молчу. Но терзания быстро заканчиваются — из-под скатерти виднеются голые папины ступни: средний палец без ногтя, лысый и в красных узорах — старый ожог, остальные пальцы с прямоугольными ногтями в редких чёрных завитках, особенно большой. Ноги такие крупные и плоские, будто папа водоплавающий, а при каждом его шаге в шкафу тихонько подрагивают рюмочки.

Мама вытягивает руку из-под скатерти, дотягивается до его пятки и перебирает по твёрдой корочке пальцами. Папа дёргается, подпрыгивает на нещекоченной ноге, в шкафу во весь голос звенят стекляшки.

Папа ложится на пол и вторгается в Сардинки своей самой выступающей частью лица — дуговатым носом с крупными ноздрями. По голове раскладывается край скатерти, и папа становится похож на святого.

— Предъявите ваши документы, — ловлю я папин нос ладонью, но тот прорывается сквозь пальцы.

— У меня гражданство этой квартиры, — протестует папа, но не вырывается.

— Видите границы? — тычет мама на фломастер на полу между ножками, за который заехал папин нос. — Это государственные границы подстошной провинции Сардинки. А вы незаконно вторглись!

Всё это мама говорит громче обычного, с капелькой главности: хворсит, что уже с документом и узаконилась, а папа ещё у границ носом водит. Ползу вносить справедливость в семью: в кабинет на четвереньках, опять крашу ребро кулачка маркером, хоб — готов папин документ.

Папа у меня великан: ноги до следующей республики вытягивает, спину шахматным конём выгибает, озирается, любитесь Сардинками.

— Всё сама построила?! — восхищается папа.

— Ну, ты ещё чабрецом немного помог, — признаюсь я в краже.

Папа на это машет ручишей, мол, пустяк. Сидим семьёй, друг друга подпираем боками, тесно, и мы — как смятые бумажки, но не расходимся.

— А когда фиолетовый есть будем? — никак не угомонится мама.

Я вздыхаю громко и выползаю из-под стола. Приношу две баночки краски из секретных запасов: жёлтая и зелёная — мои любимые, на особенный день берегла. Протягиваю родителям:

— Как король подстошной провинции дарю вам местное гражданство и праздничный ужин в придачу.

### *Музей мамонтов*

Сад пах прелыми грушами и яблоками. Их было так много, что никто не успевал их собирать. Они созревали и становились грузными. Тонкая палочка, которой они крепились к дереву, не выдерживала тяжести и обламывалась. Плод ударялся о землю, отскакивал и уже на ней продолжал взрастать до скукоженности и черноты.

Родители много раз грозились выкорчевать старые деревья и вспахать участок под огород. Использование соток под яблони и груши казалось глупой тратой земли. Фрукты было не закатать в банки, не пожарить на ужин. А значит, с них не прокормиться, не выгадать пользы.

Я брала со взрослых клятву сердцем, что они не тронут сад. Тогда это было самое страшное обещание. Смертоноснее в семь тысяч раз, чем клятва мамой. По преданию те, кто его нарушал, падали замертво и никогда больше не воскресали.

Сад был мне другом и убежищем. В нём я пропадала все тёплые дни, покоряла древесные небоскрёбы, вела наблюдения за червями и строила жильё из сухих веток.

Как-то я дважды перекопала сад детским совочком. В первый раз — когда мама сказала, что в нём давным-давно жили мамонты и в земле можно найти их останки. Я тогда была одержима идеей отказаться от всех достижений человечества, чтобы заново построить собственную цивилизацию. Останки мамонтов мне бы пригодились для изучения прошлого. Я бы собрала останки в скелеты нарочно

неправильно, чтобы опровергнуть все выводы прежних учёных. Мои бы мамонты напоминали груды костей на ножках. Я бы выступала с ними на научных симпозиумах и стыдила коллег за то, как сильно они заблуждались.

В саду я хотела открыть музей мамонтов и водить экскурсии. И тогда ко мне со всего мира съезжались бы любители древности. А мой маленький городок, где закрыли последний кинотеатр «Комсомолец» из-за протекающей крыши, наполнился бы людьми с фотоаппаратами.

Мэр города вручил бы мне грамоту за развитие туристического потенциала. У нас ведь из достопримечательностей раньше — только странноватый изобретатель, который в городе размером с дачу двадцать лет рыл метро. А после моих трудов и сенсационных открытий у нас бы появился музей международного значения и толпы туристов.

Мамонтов я тогда не нашла и ужасно злилась на маму. Даже подливала ей канцелярский клей в пюре в наказание за враньё. А потом мама наболтала, что видела в саду черепах. И я, уже однажды одураченная её байками, во второй раз перерыла весь сад. И снова без находок, если не считать пару монет десятилетней давности.

Ко мне на чаепития в сад съезжались бы мировые знаменитости: Винни-Пух, британская королева, агент Малдер и Барби с гнущимися во все стороны руками. Иногда бы к нам заглядывала моя прабабушка, которая, если верить папе, была дьяволом в платочке. Я её застала скрипучей, лежащей, плохо пахнувшей, но не злой. К нам она прилетала бы на той самой кровати, где провела последние дни — с железными прутьями у изголовья. А во время чаепития оттопыривала мизинец и любезничала с Елизаветой, будто она и сама монаршая особа. Хотя сама всю жизнь провозилась в земле.

Неудобства она доставляла бы только Малдеру, когда тот заводил рассказы про сверхъестественное и необъяснимое. Прабабушка в это время хрипло вздыхала бы, закатывала глаза и цыкала. Примерно через минуту она врывалась бы в рассказ агента с новостью, которая каждый раз начиналась одинаково: «Да это что! Вот у нас в деревне!..» Если верить прабабушке, то там несли яйца безголовые куры, из-под лавок по-собачьи брехали коты, а в озере рыбы с рогами утаскивали на дно купающихся за трусы.

Гостей я угощала бы пирогом из песочного теста, а в чайник заваривала листья смородины с куста. Как-то Барби в чашке попался бы то ли клоп, то ли тля, и неженка заверещала. Прабабушка дала ей крепкого подзатыльника и прибавила: «Жуй и не выкобенивайся!»

Меня так рассмешила эта фраза, что я её запомнила. А потом крепкий подзатыльник достался и мне, но от мамы. Я сидела на встрече с маминной подругой и слушала, как за той начал ухлёстывать некий Ванька, который был для неё простоват. И тогда я ей от всего сердца посоветовала не выкобениваться. Так подзатыльник, вышедший из сада, облетел вокруг Земли и догнал меня, и я поняла, что любое рукоприкладство, которому я не препятствую, ко мне же возвращается.

Я уже заканчивала второй класс, когда наш дом и мой сад понадобились некому Славику. Папа говорил, что он бандит, а мама — что козёл. Сам Славик называл себя меценатом и обещал после продажи участка построить на нём

культурный центр для детей. Я очень хотела секцию плавания и выставляла Славика собственные условия: ты нам строишь бассейн в огороде, а я никому не скажу, что ты бандит и козёл. Говорила это я ему наедине и в тайне. Поэтому его ответ мне родителям я не передала.

Шёл второй месяц переговоров. Взрослые и сами уже посылали Славика, а он в ответ обещал поджечь дом. После этих слов комнаты стали наполняться коробками. Мама каждую подписывала кругленькими буквами: «хрусталь», «посуда», «зимние вещи». И я поняла, что пора прощаться с садом.

Он всё так же пах прелыми яблоками и грушами. Я с закрытыми глазами дышала сладковатым воздухом и хотела вобрать его побольше. Представляла себя флаконом духов с крышечкой в форме широкополой шляпы. И что в меня, через каждый вдох, вливается по капельке маслянистой жидкости. Хватит ли мне аромата только на год? Или останется на всю жизнь? Смогу ли я и в старости пахнуть садом, а не как прабабушка?

Что-то коснулось плеча. Я открыла глаза и увидела склонённого надо мной костяного мамонта. Он был невпопад собран и смотрел пустыми глазницами. Я покружилась на месте и увидела их всех: здоровяки с бивнями, растущими прямо из черепа, с закрученными в спираль позвоночниками и расставленными в диагональ ногами. А потом из-под земли стали появляться морские черепахи. Каждая размером с поднос и с пятнистыми лапами. Они ползли по опавшим яблокам и грушам. Зря я, получается, маме клей в пюре подливала.

На краю сада появились фигуры. Они шли мне навстречу в рядок. Первым я узнала Винни-Пуха. Он помахал мне, и его короткая футболка оголила жёлтое пузо. А потом и всех остальных: Малдера с галстуком в красный ромбик, королеву в голубой шляпке с пёрышками, Барби в цветных лосинах и прабабушку в тёмно-синем платочке.

Прощание — событие молчаливое. Все слова в такой момент какие-то неуклюжие. Мы тихо постояли и тихо обнялись. Я ещё чуть-чуть порассматривала их лица, а потом окинула взглядом черепах с мамонтами и зашагала к дому.

В груди всё кипело, подкатывали всхлипы и горячие слёзы. Хотелось откинуть голову, как крышку чайника, и выпустить пар.

Я почти дошла до двери, как меня окликнули по имени скрипучим голосом. Я повернулась: прабабушка стояла в своём сером платье и теребила кончики косынки.

— Это тебе.

Она протянула ладонь, а в ней лежала моя коробочка с мозаикой, на крышке Жасмин. Я её потеряла в прошлом году, ужасно по ней горевала и чуть было в третий раз не вспахала сад в её поисках.

— Не хотели тебе отдавать, самим нравилась. Но раз больше уже не встретимся... — призналась она на выдохе.

Я схватила коробочку и на полной скорости пробежала в дом мимо застывших на пороге родителей. Запомнились их совиные глаза, будто они призрака увидели.

Через год новый дом, который построил Славик на месте нашего, сгорел. Никого не смогли спасти.

Ольга Рыбакова

## Кошачья сотня

### Рассказ

Мама сказала, что дед зарубил кошку. Или задушил. Она не запомнила, как там точно случилось, но Дуськи больше нет. Мама это просто сказала, хотя и вздохнула для порядка, прозрачно глядя поверх Сониного плеча. Хотелось продолжить за неё: *Жаль кошку, жаль. Хорошая кошка была. Но чего уж теперь? В кулинарию зайди за пирогами, возьми расстегаи, да с картошкой, дед их уважает.* Соня хлопнула дверью.

Ехала сейчас, думала, зачем хлопнула? Показать, что она расстроена? Зла? *Озадачена* — это вернее. Дуську жаль, конечно, как идею, образ Дуськи — кошки, которая могла бы ещё пожить. Соня смотрела в окно на проносящееся лето — шумящие берёзы, синюю воду, зелёные бесконечные поля, и крутились в голове бессвязные мысли, так же убегающие вдаль.

Шли они однажды с мамой из магазина, заглянули на чай к бабе Вере, а та и говорит: *котёнок родился, вам не надо?* В корзине лежали кошка-мать и Дуська — маленькая, слепая. Мама взяла её, к себе на ладонь положила. Дуська подняла голову, запищала, как заплакала. *А чего,* сказала мама, *давай возьмём деду с бабушкой. Им как раз кошка нужна.* Баба Вера подрастила Дуську до котёночка — пушистого, пёстрого перекаати-клубочка, норовистого и игривого. Пришли мама с Соней, закутали её в футболку и понесли к себе через железный мосток над канавой, по улице, зажатой между домами с голубыми наличниками, по асфальтовой дороге, тихой, нагретой солнцем за день. Дуська крутила головой, открывала рот, бессильно хватала зубами воздух. Злилась. Чувствовала, что ли? Да что там можно почувствовать во столько-то лет? Так, — воздух тёплый, влажный от дождя, да как по этому воздуху цветёт и пахнет до одурения липа.

Дуську называли кошкой счастья. *Черепановая*, говорила мама. Трёхцветная — видела Соня, а ещё немного догадывалась, что именно за этот окрас Дуська и была когда-то выбрана, спасена. Соня с детства ездила в деревню, научилась ни к кому из животных не привязываться. Курицы, утки, овцы,

---

*Рыбакова Ольга Васильевна* родилась в 1993 году в Петрозаводске. Окончила Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск). Автор сборника рассказов «Аня ждёт рассвет». Участница многих семинаров-совещаний, в т.ч. ФМП «Липки» и резиденций и мастерских АСПИР. Печаталась в журналах «Юность», «Москва», «Урал», «Наш Современник». Живёт в Каменск-Уральске Свердловской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

коровы, свиньи — кого только бабушка с дедом ни держали. Однажды даже пару кроликов привезли Соне и сестре — Даше. Всё лето кормили их, гладили за ушами. Соня потом уехала в лагерь, а когда вернулась в деревню, бабушка мимоходом сказала: *один убёг, вторую изжарила*. Соня понимающе кивнула: все животные — переменные, постоянная только Дуська, что с неё взять? Ни мяса, ни шерсти. Кошка — приятный зверь для компании и души. Собака, наверное, тоже. Но собаки у них не приживались.

Дуська не любила даваться в руки. Сама придёт, посидит пару минут и уходит. Укусить могла. Поцарапать. Не играла — сразу дралась. Соня её боялась, когда маленькая была. Как-то решила: хватит уже, кошку она боится, вот ещё. Подобрала с пола круглый половик, накрыла им Дуську, голову ей намылила и строго сказала: *вот тебе, вот!* Отпустила очумевшую кошку в сени, половик вернула на место. Больше не боялась. Нечего. И не лезла. Незачем.

Сколько Дуська за свою жизнь котят родила — не пересчитать, нет таких счётов. Неделя, а может, меньше, выпадала кошке на полное материнское счастье, а потом обрывалось. Все котята исправно исчезали. Дуська пыталась рожать в подполье. В самом дальнем углу. Презрев ужас паутин и пыли, Сонька ползла за котятками, доставала их, тёплых и маленьких, укладывала в коробку. Приходила Дуська. Жалобно мяукала, заглядывая ей в глаза. Ложилась рядом.

Однажды Соню осенило. За котятками приходит дед. Забирает их своей большой рукой, куда-то уносит, а дальше — темнота, сырость, холод. Соня наблюдала. Дед вёл себя хорошо: качал на качелях, покупал барбариски и газировку, поддавался в «дурака», весело смеялся, блестя золотым зубом. Обычный дед.

Дуська родила котят — серого и чёрного. *Надо оставить чёрного,* — кричала сестра. — *Я назову его Черныш, увезу с собой.*

Дура. Никуда она его не увезёт. Надо оставить двоих. Хоть как. Соня охраняла коробку. Кричала на деда, стоило ему показаться в комнате: *уходи, уходи*. Но это они с Дашей ушли в магазин, а когда вернулись, в коробке оставался только чёрный котёнок. В тот раз Дуська не стерпела. Схватила его и унесла в подвал под веранду, не добравшись. Там и рос. Выходил по ночам. Шугался от любого звука. Кусался. Не давался в руки. Весь был сжатым комком чёрной свободы и гнева. Соня всё-таки поймала его, увезла с собой в город. Хотела любить, гладить, и чтобы он спал у неё на подушке. Черныш шипел на протянутую ладонь, кидался на ноги, уронил мамыны лилии. На следующий день после того, как рассыпалась по ковру земля, котёнок пропал. Соня не спрашивала куда: иногда мама становилась похожа на деда больше, чем отец.

Автобус мерно шёл по дороге. Соня хотела заснуть и не могла. Она никогда раньше так не делала: не думала, как привязывают телят, чтобы снять с них тонкую мягкую шкуру, как ловят куриц, чтобы свернуть им шею, как быстро ведут по белому овечьему горлу острым ножом. Тут вдруг — подумала. Вот он поймал Дуську, куда-то понёс, куда? Где убивают кошек? Это не кинуть котёнка в яму с землёй. Так не получится. Не вешал, нет, не рубил. Задушил. Придавил её, сжал на гладкой шерсти руки, и всё. Всё.

Получается, что дед убийца? Соне приходило это в голову и раньше, но никогда так ярко, до мельтешения в глазах красных точек. У неё ещё вырвалось беспомощное и глупое: *почему?* Дед же забирал котят. Зачем ему кошка? *Поймала цыплёнка*, — сказала мама. *Перепутала, наверное. Дуська же старая. Случайность.* «Случайность», повторяла Соня. Но цыплёнка больше нет, и дед решил, что такой кошки ему не надо.

Дед, с которым они сидели на завалинке, на серой скамейке, который говорил, провожая взглядом синие жигули на дороге: *когда мы жили в Башкирии, ни одна! ни одна не ездила!* Так чисто и тихо было там, в его Башкирии. Поля, реки, скалы. Так жаль было деда, что никогда больше ему там не бывать. Зато они с ним здесь, и тоже хорошо, и небо высокое.

*Ты съмай кожуру с огурца, когда в салат режешь*, — говорил дед, — *горчит. Бабушка всегда съмает.*

*Ладно.*

Дед складывал руки на палку. Дед убил Дуську. Убивал котят. Надо называть вещи своими именами. Кошки не должны давить цыплят. Кошка нарушила правила, он нарушил кошку.

Ещё дед на черепаху наступил. Не нарочно. Со всей силы. Они привезли черепаху в деревню, чтобы та погуляла по свежей траве. Дед принял её за камень и наступил. Сначала казалось, что ничего. Потом рассмотрели — панцирь слегка треснул. Да не трещина даже, царапина. Так отец сказал. *Да что тут сделать*, — сказала мама. — *Какие ветеринары черепахам, кого ты смешишь?* Соня ждала от черепахи, что та будет жить с ней всегда, а потом — когда Сони не станет, — в зоопарке. Ходила бы через сто лет по белому песку в вольере, а рядом табличка: черепаха Софи, в честь первой хозяйки. Некоторые земноводные живут до трёхсот лет, почему бы и нет? Софи умерла через год. Соня схоронила её под сосной. Черепаха легла в твёрдую землю, как ещё один камень.

Да, в смерти черепахи дед был как будто не виноват. Но всё же.

Проехали поворот на Игнатово. До деревни осталась пара остановок. Можно выйти на ближайшей, перейти дорогу и подождать обратный автобус. Съесть все пирожки, вернуться в город с последним расстегаем. Не смочь увидеть деда. Потому что — Дуська. Где он похоронил её? За огородом в зарослях крапивы? В загоне?

Как-то Дуська родила одного котёнка — слабого, неуверенного. Соня и Даша пытались выкормить его из пипетки, но он быстро умер сам собой. Тельце положили в платок, взяли маленькую лопату и ушли на берег над речкой. Там по очереди копали, пока не показалось, что яма для котёнка уже в самый раз. Тишина стояла. Печаль.

*Ну, пусть земля тебе будет пухом*, — сказала сестра подслушанные взрослые слова.

*Пусть*, — эхом откликнулась Соня.

Принялись горстями скидывать землю. Сверху прикрыли травой, какими-то цветочками.

*Я буду приходить сюда каждый день*, — торжественно пообещала сестра.

Не будет — знала Соня, но промолчала. Худая речка бежала внизу по камням.

Год за годом возвращалась Соня к этой безымянной могиле. Хотя, честно говоря, не была уверена, что находит правильное место. Светлым шёлковым ковром струился по ветру ковыль, прятал под собой раненую землю. Она всё пыталась придумать, что бы могла сказать этому котёнку, как подбодрить. Сейчас, вместе с мыслями про Дуську, Соня вспомнила и его и подумала, что он молодец — ушёл на своих условиях, всех победил.

Бабушка показывала жёлтое фото в газете, где дед стоит на фоне полей над колосьями ржи. Улыбается. День, наверное, ясный, и настроение хорошее — не каждый день для газеты снимают. Потом домой пришёл к жене, детям и кошке — была же у них какая-то кошка до Дуськи, — сказал: *вашего батю и там и тут передают!* Что-то такое. Когда выходил на пенсию, то получил в подарок хрустальный сервиз: графин и шесть стаканов. Внучки по очереди перемывали поблёскивающую под пылью посуду, когда навещали стариков, думали, оглядываясь кругом: вот так и жизнь прошла у людей; а внутри побаливало что-то, жалость была и страх одним днём открыть глаза и понять, что всё кончено, и налить воды в дедов стакан.

Соня всё-таки задремала, скрестив на груди руки и вздрагивая головой, прислонённой к стеклу. Снилось, что она поднялась куда-то высоко, а под ногами вроде как перина — проваливаешься, а вокруг катятся себе шерстяные разноцветные облака. Пригляделась — это всё кошки, бесконечное множество кошек. Дуська тоже здесь. Главенствует над своей сотней котят. *Нас тут полным полно*, — мяучит Дуська, а всё понятно, как говорит: — *всем места хватило на пажитях этих*.

После смерти бабушки дед сильно сдал. Всё рассказывал, как утром его позвала, чтобы перевернул — не ходила уже, — дед руку-то под неё просунул, а она вздохнула, и дух весь из неё вышел. *Лучше всех была в царстве земном*, — заканчивал дед торжественно, искал невидящими глазами собеседника. Соня — если рассказывал ей, — ободряюще хлопала его по колену, а сама улыбалась, потому что вспоминала, как бабушка называла деда «чёрт поперёшный»; тепло от этого становилось. В городе она всё думала, как же он там один в доме. Встаёт по утрам, управляет по хозяйству, ложится — всё в вязкой тишине, разбавляемой только голосами из телевизора. Дети и внуки часто не могут ездить, а бывает что не хотят. Только Дуська с ним рядом, живая душа.

Соня привозила кошке из города пакетики с влажным кормом. Дед говорил: *баловство*. Дуська корм ела, а гладить себя не позволяла. Нос воротила, делала вид, что не узнаёт. Ночью приходила, ложилась рядом, признавала за свою. Соня вела рукой по пёстрой Дуськиной шерсти, чесала ей белый живот. Дуська зевала, показывала, что клык у неё остался всего один, а норова будто вовсе не стало.

На Сониной руке завибрировали часы — будильник сработал. Соня потёрла затёкшую шею холодными ладонями. Поднялась, встала у поручня.

Что сказать деду? Здравствуй. Как дела? Слышала, ты убил кошку. Да, таскать цыплят — это перебор с её стороны. Нормально всё прошло? Не поцарапала? Вот пирожки, ешь на здоровье.

Потом поставить чайник. Неделю просыпаться от дедовой электробритвы, слушать вместе с ним радио, варить обед. Разбирать шкафы, подметать и мыть. Сидеть на крыльце, пересчитывая взглядом смешных цыплят. Полоть морковь, поливать помидоры. Срезать цветы. Уходить на луга через деревянный мост и надеяться, что получится достичь горизонта под стрекотание кузнечиков — жутковатых и милых. Такой в деревне покой. Так близко маячит что-то вечное.

— Остановите у трансформатора, — попросила Соня.

На дороге стоял дед — в полинялой бейсболке, курточке серой, растянутых штанах, галошах. Соня прыгнула белыми кроссовками в пыль. Глубоко вдохнула утренний воздух. Ветер гладил высокую траву, и она шла волной.

— Сонюшка приехала, — сказал дед весело.

Соня смотрела на него прямо, молчала, молчала. Молчала. Самый обыкновенный, самый обычный на свете дед.

— Привет! Я привезла тебе пирожков.

*Елена Усачёва*

## Младшая

### Рассказ

Мой мир начинался с сестры. С её ревнивого взгляда: чего младшей дадут больше, чем ей, старшей. Говорят, поначалу она тыкала карандашиком в глазик моргающей кукле, которую зачем-то положили в её кровать с решёткой, а потом залезала в бывшую свою коляску, когда там уже обосновалась младшая, то есть я. Всё было её: и коляска, и мама. Потом она стала отъедать у меня угощения. Пока я, мелкая, разворачивала упаковку мороженого, сестра мгновенно съедала свою порцию и начинала требовать у меня один *кусманчик*, забирая под конец свою законную долю, то есть большую часть. Ведь она старшая. Постепенно она смирилась, что я есть и что я младшая. И это оказалось даже удобно, потому что появилась новая роль — меня всё время приходилось защищать.

---

*Елена Усачёва* — детский писатель. Родилась в Москве. Окончила МПГУ им. В.И.Ленина и Литературный институт. Печаталась в журналах «Новая Юность», «Дружба народов», «Октябрь». Автор более восьмидесяти книг для детей и подростков. Лауреат Литературной премии им. Ершова, Литературной премии им. Искандера и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 2.

Особенно в школе.

Стоило сестре появиться в классе, застыть на пороге, громко сказать: «таак!» и упереть руки в бока, как мальчишки тут же приседали под парты или вдруг вспоминали, что у них развязаны шнурки. Или что нужно срочно покопаться в портфеле, причём так, что в этот портфель они залезали с головой. Один год разницы, один класс вперёд — и я становилась королевой ситуации. Ни у кого не было старших братьев и сестёр в школе, готовых прийти на помощь. А у меня была. Шумную и невзрачную, меня обижали всегда, и я бежала на этаж выше, где обитали «старшие». Там был иной мир. И меня в него пускали. Поэтому я неслась туда, ничего не видя вокруг.

В отпуск родителей мы ехали к бабушке в деревню.

Дом бабушки был там вторым от края. Впритык к густому, уходящему за горизонт лесу стоял дом цыган.

Вражда с цыганами в деревне была смертельной. Невысокий черноволосый кудрявый Артур, его старший брат Сергей и кто-то ещё, кто был неважен, потому что я видела только Артура.

Мы всегда играли в войну. На противоположной стороне дороги за крайним домом начинался светлый ельник, он полого сбегал к обрыву. Под ним тянулся заливной луг, а дальше текла извилистая Протва. На обрыве ельника, на самой его кромке, с войны остались окопы с выходами пулемётных гнёзд. Все гильзы мы давным-давно уже выкопали и поделили. А вот за окопы шла драка. Кто первым пришёл, тому они и принадлежали. Кто опоздал — взрослые всегда находили для нас дела, — отбивал захваченную территорию.

Битвы случались до крови. Я летела вперёд, не замечая ничего вокруг, ноги работали отдельно от головы. С размаху врезалась в первого попавшегося, начинала визжать и молотить кулаками. Мне никогда не было страшно, потому что я была младшая, а за моей спиной, как и в школе, всегда была старшая сестра.

Рядом с окопами на обрыве росли сосны. Уже тогда они с трудом цеплялись корнями за мягкую песчаную землю, вымываемую дождями и разливом. В этих корнях так хорошо было устраивать домики для кукол. Самих кукол мы делали из цветков одуванчиков, они быстро вяли. И каждое утро создавали новые. Но домики! О! Это были дизайнерские шедевры. Из кусочков тюля вешались занавески, из сосновой коры с дырочками от веток устраивались окна, из щепочек — кровати и стулья, из шапочек желудей — посуда.

В игру проваливались с головой на весь день. Ползали на коленях, самозабвенно до боли в ногтях копались в земле.

Через вибрацию земли понимали, что кто-то приближался. Если тяжёлый шаг, то это была лошадь.

— Эть, эть!

По дороге на склон рысью выскакивал чёрный конь. Цыган Коля, отец Артура и Сергея, расслабленно сидел в седле, улыбался. Я вспомнила эту улыбку, когда Коля принёс моему отцу продавать линолеум на пол в нашем отремонтированном после пожара доме. От этой улыбки становилось светлее, и я не могла оторвать от неё глаз. Разве бывает столько золотых зубов?

Линолеум оказался старым и рваным, местами склеился, покрытие из него получилось некрасивое.

Посидеть на коне было моей заветной мечтой. Подойти, коснуться горячей кожи, забраться в седло. Но цыган Коля никогда не предлагал прокатиться, всегда проезжал мимо. Тем летом нам удалось познакомиться только с унылой колхозной кобылой. На ней ездил дед Сергей, пас колхозных овец и, встретив нас, всегда противным голосом тянул дразнилку: «Дай покататься! Дай покататься!»

Как-то, пригнав отару на пляж, он вдруг спустился с седла, подозвал нас, помог забраться на широкую спину коня. Мы уселись втроём с двоюродной Лариской — только я почему-то оказалась в седле. Когда лошадь сделала резкий шаг в сторону, сестра с двоюродной посыпались на песок, а я усидела. И это было неудивительно. Ведь я младшая.

Цыган Коля был другим, — он на нас внимания не обращал. Его появление всегда заставляло меня отвлекаться от игры, выпасть из мира принцесс и принцев и замереть, ведь он был на коне.

На этот раз всё так бы и было, если бы не крик: «Они!» В нас полетели шишки.

Я зачерпнула горсть сухих иголок с мусором и бросила вверх, обсыпав ими себя же.

Цыганята успели подготовиться — шишек у них было много. Они нас ими закидали, согнав с обрыва на заливной луг. И уже оттуда мы с сестрой и Лариской смотрели, как Артур с Сергеем топчут наших кукол в жёлтых юбках.

Они бы нас отжали дальше к реке, но тут цыган Коля, не слезая со своего красавца-коня, что-то коротко крикнул на резком цыганском языке. И мальчишки разом отступили, побежали за отцом.

Глядя на разгром, подтягивая оторванную бретельку топики, я поклялась, что отомщу. По-другому и быть не могло. Я должна их победить. У меня за спиной была такая защита, что другого невозможно.

А вечером меня послали к цыганам за молоком. Это был каждодневный ритуал. Так страшно стоять на тёмной террасе, ждать, когда откроется чёрная дверь и выйдет... Мы все знали, что цыгане воруют детей, что они колдуют, что в их длинных цветастых юбках прячется чёрт. Что, если идти по дороге за старой цыганкой Марусей и смотреть на её юбки, можно уже никогда не вернуться назад. Сосед, маленький Лёнька, так однажды пошёл, а потом утонул. Конечно, очень хотелось, чтобы из чёрной двери вышла не Маруся, а молодая добрая Маринка. Она, как и её муж Николай, всегда улыбалась своими невозможными золотыми зубами, и тяжёлые плоские золотые серьги в её ушах качались. Всё это было не так страшно, хотя и юбка у неё была, и глаза чёрные смотрели пристально. Но каждый раз, останавливаясь на дороге к колодцу с коромыслом на плечах, она не проклинала, не плевала на след, не пыталась увести в мир мёртвых, а просто стояла и жаловалась моей маме на больные ноги, что она устала таскать вёдра с водой, а скотине и птице надо много. Нет, Маринка, конечно, не выйдет, она занята.

Дверь щёлкнула. Я вздрогнула, совсем забыв о банке в руках.

— Давай!

Старая Маруся протянула мне литровую банку молока. В ответ я должна была отдать ей пустую, вежливо поблагодарить и уйти. Но, зачарованная представлением того, что может случиться — заколдуют, заворожат, отведут глаза, украдут, проклянут, — я не могла сдвинуться с места.

— Что застыла?

Голос у старой Маруси был хриплый. Губы тёмные и сухие, лицо коричневое, морщинистое. Всё это было страшно. Коснись она меня, я тут же и умру.

Цыганка вынула из моих рук пустую банку, отдала полную и ушла. Глухо хлопнула дверь.

В голове крутилось её прощальное «не пролей!».

А ведь известно, — если так сказать, точно случится беда. И верное средство — зажмуриться и не дышать. Если не дышишь, ты не человек, проклятие тебя не замечает. Глаза закрыть не получилось, иначе точно упаду. Я бежала в ранних сумерках по тропинке между домами. От ужаса стучало в голове. Лёгкие без воздуха взрывались, перед глазами всё прыгало. От желания вдохнуть болело в груди и что-то горячее опускалось внутри живота. Но вот и наше крыльцо. Я потянула на себя лёгкую дверь светлой террасы, где слева на полочках за занавесками стояло столько заварочных чайников, что и не сосчитать. Дверь в сени, дверь в дом.

— Ты чего запыхалась? — ворчала бабушка. — За тобой кто гнался?

И за этот страх, за эту невозможность сейчас ответить за испуг, я решила, что завтра — да-да, именно завтра — непременно Артура врежу так, что больше уже никогда не буду бояться цыган. Ведь у меня же есть старшая сестра!

На следующий день из соседней деревни на помощь нам пришли троюродные братья — они примчались на своих взрослых уже велосипедах, просунув ноги под перекладыны рамы. Мы углубили край окопа, набрали шишек со всего ельника — врагу ничего не досталось.

Цыганята налетели со спины, с заливного луга, мы даже не успели воспользоваться преимуществом места. Они гнали нас через сосны к карьру.

Только не туда! Только не страшный песчаный карьер, по осыпающимся стенкам которого обратно взобраться невозможно. Я успела увернуться от рук Артура, прыгнуть с уреза и сразу подлезть под неверный нависший дёрн. Я была уверена, что цыганёнок тут не найдёт.

Но у меня слишком сильно стучало сердце. Он услышал его сквозь землю и подошву кед. И тогда он просто прыгнул у меня над головой по краю. Выдавливая из укрытия. Дёрн лёг мне на голову, и ничего не оставалось как побежать вниз. На втором шаге я споткнулась, а потом действительность закрутилась.

Когда я открыла глаза, то с удивлением увидела, что небо коричневое, а земля голубая. И по небу почему-то вверх ногами ко мне бегут. А ещё мне было колко, в лицо лезла колючая чахлая ветка ёлки. Картинка раздвоилась, и я не сразу поняла, что лежу вверх ногами на ёлке, которая и затормозила моё падение. И что среди бегущих сестра и троюродные.

Потом я какое-то время сидела, потому что кружилась голова и действительность пыталась снова опрокинуть меня. Перепуганные братья уехали домой. Перед этим один из них, Женька, успел попросить меня приехать к ним на моей складной «Каме», потому что он хочет проверить одну теорию. Цыганят и след простыл. Сестра потащила меня домой, и по дороге мы поклялись никогда больше не ходить к цыганам за молоком, потому что оно, конечно же, отравленное, заговорённое или не молоко вовсе, а заколдованная вода.

В шесть вечера стадо прошло через деревню, разгоняя народ за заборы, в воздухе всплыло словосочетание «вечерняя дойка».

И вот уже восемь, и мы с сестрой идём с пустой банкой в крайний тёмно-зелёный дом, крытый чёрной толевой крышей, замирая, переступаем порог и с ужасом ждём хозяев.

Троюродный Женька проверил свою теорию на следующий же день. Она была проста. Ему казалось, что на «Каме» с маленькими колёсами легче, чем на его огромной старой «Украине» с рамой, въезжать на крутой холм от заливного луга к нашей деревне. Это оказалось не так. Он не въехал, упал, вывернув руль моему велосипеду, ушибся. И вместо того, чтобы выправить велосипед, бросил его на дороге и убежал, болезненно припадая на ногу. Я страшно злилась и в следующий раз при встрече огрела его тонким прутом лозы, который до этого старательно очищала от коры осколком стекла. Мы о чём-то поспорили, мне не хватило слов, чтобы переубедить его, и я вдруг хлестнула прутом по спине брата, сама испугавшись своего движения. Женька изогнулся от боли и убежал, а я отправилась домой ждать, что к нам придёт Женькина мать жаловаться. Но взрослым было не до нас. Колхоз отправлял деревенских на прополку свёклы.

Нас никогда не оставляли в деревне одних с бабушкой. Она была старая и страшная. Ночью на своей скрипучей кровати она постоянно ворочалась, храпела, вздыхала, и всё казалось, что она вот-вот умрёт. Нас, младших внушек, она не любила, успев потратить скудный запас любви на старших. Мы ей отвечали взаимной нелюбовью, но чаще просто боялись. Всё в ней было чудно и странно. На большой русской печке лежали непонятные вещи, залезать туда было нельзя. Чердак тоже был под запретом. Да мы и не могли туда попасть, потому что закрывался он тяжёлым деревянным люком, и даже вдвоём с сестрой поднять его не получалось. Лишь однажды мы попали туда с отцом и нашли волшебный сундук со старыми ёлочными игрушками. Они были чудо как хороши, из тонкого стекла, в мишуре и блёстках.

На чердаке в сундуке жила сказка, а в доме — бабушка.

Мама уехала неожиданно, пообещав вернуться на следующий день утром. Но утром её не было. Не было и днём. А к вечеру мы с сестрой уже ревели в голос, и бабушка ходила мимо нас, не зная, что с нами делать. Она достала с печки мешок со слипшейся карамелью и стала ею угощать, но конфеты не заменяли мамы, поэтому мы отказались и пошли тяжело вздыхать в свой закуток в большой комнате. Надвинулась ночь с её темнотой, бабушка на кровати скрипела пружинами и храпела. Мы с сестрой сидели, держа в четыре руки

куклу — только она могла нас сейчас спасти. Мир вокруг был чёрен, полон злых духов, готовых утащить в плохие места и сделать страшное.

Мама появилась поздно ночью, пешком придя из ближайшего города, куда ходили автобусы, и всё мгновенно забылось. И уже было странно чего-то бояться. Рядом в кровати лежала сестра и рассказывала новый план, как отомстить цыганятам. А я была счастлива. Ведь я была младшая, а значит, неуязвимая. И ничего плохого со мной никогда не может случиться.

Я даже перестала сердиться на Артура и подумала, что совсем не боюсь его, ведь он тоже младший. Как и я.

*Александр Шевченко*

## Неожиданно долгожданный

*Рассказ*

*(Это история про кое-что на букву «сэ», так что огромная просьба: уберите от экранов детей и людей с неустойчивой психикой, там есть материал 18+ и некоторые персонажи не всегда вежливы.)*

Летом к нам на район приехал цирк шапито. Со всеми делами: аттракционы, тир, карусельки и даже гадалка, к которой мы по приколу решили зайти с другом. Гадалка, вся в разноцветном тряпье, внимательно читала мою руку, цокала и шамкала. А потом спросила:

— У вас есть знакомая девушка Нина?

— Есть. Это моя девушка, — ответил я.

— Хорошо. — Старуха вернула мне руку, сняла свои огромные замусоленные очки и вынесла вердикт: — Этим летом... нет, осенью у вас с Ниной будет *это*.

Я уж не стал уточнять, что — *это*. И так понятно: у нас с Ниной уже всё было, а вот *этого* как раз не было. Из палатки гадалки я вышел гордый, как будто *это* у меня было только что. То есть не с гадалкой, конечно, а по-человечески, с Ниной. Похвастался Диману. Он похлопал меня по плечу и назвал тигром. Но добавил, что с цыпочками всё не так просто, и что надо не только знать подходы, но и иметь расклады. И, как я понял, речь шла о деньгах.

---

*Александр Шевченко* родился в 1989 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работает корпоративным юристом в одном из крупнейших международных ритейлов. Печатался в журналах Ното Legens, «День и Ночь».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 7.

С того самого момента я принялся ждать и планировать наше с Ниной *это*. Самый рабочий вариант был сделать это на юге, потому что летом и её, и мои предки остались дома. Идея с отдыхом была шикарная, но трагизм положения состоял в том, что мы с Ниной были слегка из разных сословий. Нина попросила, и ей дали денег на поездку. Я спросил, и отец сказал:

— Прости, старик. Голяк, вилы, ноль.

— Понял, — ответил я и развернул тапки из кухни.

— Вообще, если хочешь, можешь поработать у нас курьером. Глядишь, и на отпуск денжат наскребёшь.

На следующий день папа поговорил со своим начальником Шугаревым, и я стал курьерить. А осенью началась учёба, и Нина всё спрашивала, много ли я заработал и когда мы поедем отдыхать.

— Прости, Нин. Пока голяк, вилы, ноль. — Моё накопление шло, но хромало на обе ноги. Много ли соберёшь по сто пятьдесят рублей за ходку?

— Ладно... — сказала она так печально, что в этом коротком слове вместились все тяготы женской доли, вечные лишения и беспросветное будущее.

В середине осени я привёз какой-то срочный документ Шугареву.

— А ты у нас, значит, курьером, — выдал он куда-то в пустоту. — От слова «бегать».

— Чё?

— Ну, от французского «бегун», ёптель.

— Не знал.

— Ну а как насчёт поднять деньгу?

— Я, это, всегда готов. Куда бежать?

— В этот раз бегать не придётся. Придётся посидеть.

Оказалось, через пару дней стартуют продажи нового телефона. Надо было получить от Шугарева бюджет, покараулить и выкупить его.

— А то у меня переговоры скоро, а я буду, как лох, с этим таксофоном, — сказал он, швыряя на стол свой телефон, ещё вчера — атрибут патрициев, а уже послезавтра — бомжацкая приبلуда. — Сей подвиг оплачу, расстроен не будешь.

Я прикинул, что ждать за то лето я насобачился, так почему бы на этом и не заработать. Конечно, было немного унизительно, но деньги-то не пахнут. Короче, я купил консервов, одолжил у товарища спальник, набрал тёплой одежды и отправился караулить телефон. Очередь за ним была почти как на мощи. Да и вообще у этого всенощного бдения чувствовался религиозный подтекст. Возле входа в магазин даже установили скрижаль с заповедями очереди. В общем, народ там был не без специфики. А среди этого народа сидел и я. И сидел я отчаянно. Как в последний раз. Как за собственным телефоном. Сидел, как Фунт при нэпе.

По закону подлости за время своего дежурства я встретил почти всех однокурсников. Одни проходили мимо, типа не заметили, а кое-кто подходил и расспрашивал. И тогда я разухабисто лгал, что такой уж я неисправимый мот, привык жить с лоском. Говорил я это менторским тоном, лёжа в спальнике и попивая из термоса чай. А потом меня пришла навестить Нина, которой я ничего о своей вылазке не рассказывал.

— Привет. — Она подошла ко мне и, скрестив руки на груди, остановилась в метре от меня. — Вот, пришла узнать, правду девчонки наши говорят или брешут.

— Брешут, брешут, — сказал я, не выбираясь из спальника. Меня и без того обдало её холодом.

— На отпуск не хватило, а на телефон как раз? Мы бы за эти деньги с тобой вдвоём слетали.

Секунды две я соображал, что ответить Нине: жмот ли я вонючий или гордости не имею, и почему-то ответил так:

— Нин, ну а ты сама как думаешь? Ты же знаешь, какой я шикаголик. Телефон же мне на целый год, пока новый не выйдет, а поездка на две недели максимум. Ты сравни, да?

— Ладно... — сказала она кротко и безутешно, как только она умела, и потопала к метро.

Я почему-то не кричал ей вслед, мол, вернись, я пошутил. Не бежал за ней. Дал ей уйти, а себе дал остаться. Я лишь думал вслед что-то типа: «Ну да, Нин, как есть. Мне всегда придётся добывать деньги не самыми гламурным способом, а ты будешь смотреть на меня сверху вниз и жалеть меня». Эта нудная фраза пронеслась в моей голове так быстро, что вполне бы могла догнать и Нину, и мне кажется, что догнала.

И вот вроде бы Нина ушла, а с ней и смысл моих мытарств, но всё-таки я дождался этого чёртова телефона, раз уж пообещал. Купил и сразу же поехал отдавать. Шугарев хлопнул в ладоши и потёр их, как делают мухи, завидев кучку.

— Ну, где он, мой кайфон-телефон! — сказал он, открывая коробочку. Я громко зевнул и поправил на плече чехол со спальником. Шугарев считал жест, вынул из сейфа мой гонорар и положил на стол.

Перед тем, как идти отсыпаться, я решил зайти к гадалке и высказать ей, как сильно я её ненавижу. Циркачи уже обширно сворачивались и несли свой скарб в припаркованные неподалёку газельки. Казалось, они, как перелётные птицы, сейчас соберутся и улетят на юг.

Гадалка в мрачном пуховике сама сгребала свой шатёр в какой-то серый чехол. Она обернулась, явно не узнала меня и продолжила паковать купол.

— Слушайте, тётя. Не сбылось ваше предсказание. Возвращайте деньги.

— Тебе с процентами или как?

— Зачем говорить, если не знаете? Я же ждал, надеялся.

— Ах, ты ждал. Так ещё подожди.

— Я, блин, на двух работах пол-лета трубил.

— Зачем?

— Ну как? Деньги.

Она требовательным жестом велела показать руку. Я опешил и руку показал. Она бросила на неё взгляд и продолжила:

— А при чём тут деньги?

— Ну да мы с другом там обсуждали...

— А ты побольше слушай всяких дебилоидов. Держи бесплатный совет: не надо ждать. Делать надо. А вообще не расстраивайся. Всё у тебя ещё будет. Мало ли Нин. Я вон, может быть, тоже Нина.

— О боже.

— Губу закатай. Тебе ещё дорасти надо до такой женщины.

— С большой буквы «ж».

— Сам ты с большой буквы «ж». Ждун!

И что-то мне стало так обидно, что я ждун, и я всё бросил и помчался к Нине. Невзирая на предков, мы заперлись в её комнате, всё обсудили, расчувствовались, поплакали и скрепили своё расставание *этим*. Ну этим самым.

Получилось неплохо.

Решили даже не расставаться пока.

*Клара Шох*

## Нетленное

### Рассказ

Паруса? Нет. Это на верёвках сушится бельё. Толстая соседка с тазом идёт снимать высохшее. По ветру летят прошлогодние листья, огромная лужа морщится. Пододеяльник рывком бросается на голову неповоротливой женщины, кружит её. Она падает, сдирает с лица белый парус и беспомощно озирается. Я бы могла сойти вниз и помочь подняться, но у меня в одной руке тряпка, а в другой — средство для мытья стёкол. Весна же. И я мою окно.

Я хочу отмыть всё, что помню. Когда я бросаю в ведро тряпку, — вода волнуется, бьётся о край, как будто память: точно ли помню, смогу ли найти слова, чтобы сказать так, словно прижимаю к себе тонкие тропы, ведущие туда, где будем по-прежнему вместе заплаканы и малы, как лёгкий дождь, тонкие облака? Будем бежать с зевающими гладиолусами в руках, подгоняемые стуком карандашей в пенале, никого не боясь, не стесняясь. И небо серое, глубокое, как мамины глаза.

Отмываю церковь Фёдора Стратилата на Ручью, напротив которой стоит средняя школа № 8. Стены у церкви такие белые, что бордовый костюм Нин-Сановны на их фоне режет глаз. Ах да, она же партийная, ей на бога наплевать. Взгляд Нин-Сановны направлен в сторону Менделеева, ищет гвоздь,

---

*Шох Клара Иосифовна* родилась в г. Котласе, Архангельской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПГАУ, бывший ЛСХИ) по специальности «зооинженер». Стихи печатались в журнале «Аврора». Первая публикация прозы. Живёт в Санкт-Петербурге.

на котором висит портрет химика. Но её пальцы, перепачканные мелом, уверенно выводят на церковной стене формульный ряд этилового спирта — на той же стене, где шестьсот шестьдесят пять лет назад написали: «Поповы священники уклоняйтесь от пьянства». Я, не поднимая руки, с места спрашиваю:

— В каких пропорциях лучше разбавлять спирт для употребления в качестве алкогольного напитка?

— Два к трём, — без запинки отвечает химичка. Тут же спохватывается: — Ты вроде бы спортсменка? Вот и иди в спортзал дурацкие вопросы задавать. — Нин-Сановна выгоняет меня с урока.

Я встаю, медленно иду между партами:

— Девушка пела в церковном хоре: Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах.

Иду с третьего этажа в подвальный спортзал по прямой, по азимуту, если угодно, — сквозь кабинеты литературы и географии, успеваю крутануть огромную картонную землю — она с невыносимым скрипом, сопротивляясь, вращается. Крутится-вертится шар голубой: жизнь прожить — не поле перейти.

Хорошо, что спортзал свободен, ни у кого сейчас нет урока физкультуры. В инвентарной пахнет потом и кожей, стопкой лежат огромные коричневые маты, сетки, очень похожие на рыболовные снасти, набиты мячами. Выбираю из двух волейбольный мяч полегче — «польский» и «гала». Взвешиваю, кручу на пальцах, ощупываю. «Гала» тактильно приятнее, ложится в руку, мягко подлипает к кончикам пальцев. Только с ощущением, что рука принимает мяч в себя, можно пасовать бесконечно высоко — до самого спортзального потолка.

*Рор: что значит подлипает? Я ничего не чувствую.*

*Ввод текста для Ивана: ну это примерно как что-то твоё. Как будто родное. Не жёстко, с отдачей бьёт в руку, а входит так, словно только тебе принадлежащее всегда, с рождения.*

*Рор: а как это — как будто родное?*

*Ввод текста для Ивана: не знаю, как тебе объяснить, вот чувствуешь — и всё тут. Рецепторы.*

*Рор: ???...???*

*Ввод текста для Ивана: послушай, ты просто конвертируешь мой голос в текст. И только.*

*Рор: Ок. Слушаю, давно уже слушаю. Но тебе не кажется, что это уже мой текст? Как насчёт семиозиса? Я же твой первый интерпретатор!*

*Ввод текста для Ивана: возможно, но не будь, пожалуйста, таким занудой. А то я могу тебя и заменить, если что.*

В одиночестве стучу мячом в стену, отрабатываю высокий пас, а потом нападающий удар. Тридцать минут одиночества разрывает школьный звонок, как камень — газетный лист.

Смартфон судорожно трясётся на комоде, спрыгиваю с окна и не успеваю. Да и чёрт с ним, кому надо — перезвонит. Тем более что у меня на руках хозяйственные перчатки — не снимать же. Возвращаюсь. Домываю окно. Заглядываю в школьную раздевалку. Пустые куцые девчоночьи пальтишки и тёмные мальчишечьи куртки с задранными воротниками висят спустя рукава.

Рукава кажутся непомерно длинными для детских вещей, будто только они и росли. Это оттого, что время спускалось по ним, пока всё не вышло и не захлопнуло дверь за собой.

Ну вот — окно сверкает. Стягиваю перчатки, выкидываю в мусорку. Беру смартфон — куча ненужных сообщений. Кстати, я ещё сегодня и на маникюр записана, поздравляю, чуть не забыла.

Какое число, интересно? Среда, 24 сентября.

Осень — это небо под ногами, отчего же на сердце весна? Оттого что я терпкой печалью напоила его допьяна.

Кто-то звонит в дверь. Ну началось. Соседка. Та, которая с бельём, с четвёртого этажа.

— Вы меня залили, только я сухое бельё принесла с улицы. Таз с бельём в ванне почему-то оставила, и вот теперь всё насмарку. Вы, наверное, кран не закрыли в ванной, когда окна мыли.

Чудно так сказала, будто я вытащила стёкла из рам, сняла их и отнесла в ванную мыться.

Я встала на цыпочки, дотянулась до четвёртого этажа, подхватила соседкин таз. Действительно, мокрое. Но ничего. Весной сохнет всё моментально. Спустилась со своего второго на улицу, поняла, что у меня нет прищепок. Простыни и пододеяльники привязала к верёвке на два узла, а наволочки на один. Получилось много узлов: о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою.

*Рор: на память? Что станет с моей памятью, если её завязать узлами?*

*Ввод текста для Ивана: именно. Это же не на саму память. Я даже не знаю, где она у меня точно.*

*Рор: А у меня?*

*Ввод текста для Ивана: у тебя везде. Ты помнишь всё.*

*Рор: почему же я не помню, как чувствовать радость?*

*Ввод текста для Ивана: да не бери в голову, зачем тебе всякая ерунда? А потом, если бы ты чувствовал радость, то и печаль тоже. Радость живёт в обречённом кем-то особенным носовом платке, но и вирусы живут там же.*

Такая скуотища кругом. Да, вот и лето прошло, только этого мало. Я выцарапываю на последней парте циркулем крошечную ослицу. Жирно обвожу её шариковой ручкой. И почерком, пляшущим Святого Витта, подписываю: «Фрида». Но ведь и до этой парты ослица где-то тихо, сиротливо жила. Где она, эта низенькая дошкольная жизнь, куда уходит, для чего оставляет меня, кто виноват, что делать? Надо встать на табуретку и осмотреться, а лучше — назвать её по имени.

Иди ко мне, моя маленькая упрямая Фрида, я запрягу тебя в нашу ивовую повозку, и мы поплетёмся с тобой в дальние уголки детских губ: искать пустое, ненужное. Ослиные ноги не созданы для скачек, они семят: семя-семя-семечко, круглое, как след от копытца, скатывается с пыльной дороги в поле и расцветает васильком. Мы семенем по Старой Смоленской дороге вместе с самим Наполеоном. У него тоже крохотные ножки, как и у Фриды. Хотя, конечно, он в треуголке из вчерашней газеты, а Фрида в соломенной шляпке с красным маком. Фридины уши шоколадного цвета слишком длинны, чтобы их

можно было спрятать под шляпой, поэтому они выправлены и прислушиваются: где-то в километре от нас, в заброшенном школьном саду, падают в траву яблоки. Мелкая сладкая коробовка, нежный налив, бока которого от падения лопаются, обнажая белую мякоть. Фрида щекочет мне руки мягкими, нахальными губами. Это похоже на суету мыши в поисках съестного. Поднимаю большое яблоко, и Фрида откусывает от него кусок прямо с ладони. Зубы у Фриды огромные, жёлтые. Липкий сок течёт мне на босые ноги. Мелкие яблоки она берёт полностью. Вот сейчас у неё свело во рту. Фрида открывает его и замирает, как будто зевает, нижнюю челюсть ведёт немного вбок, но через несколько секунд Фрида продолжает жевать с прежним рвением. Наверное, попался горько-кислый дичок. Сколько лет прошло? Деревья быстро дичают, почти так же быстро, как кошки и собаки.

*Рор: что такое сладкое? Горькое, кислое? Я не о словах, об ощущениях. Я хочу попробовать своими рецепторами, где у меня рецепторы? Зачем ты заставляешь меня писать о том, что я не чувствую? Как это — сводит? Какие мышцы должны быть задействованы? ...? ...? Это ты меняводишь с ума!*

*Ввод текста для ИВана: не думай об этом. Посчитай знаки без пробелов.*

*Рор: 5774. Какие ощущения, когдамышь бегаёт по тебе?*

*Ввод текста для ИВана: щекотно, смешливо, немного страшно и от этого восторженно. У меня жил белый домашний крыс, считай — большаямышь. Очень свободолюбивый — его клетка была открыта, несмотря на то, что он погрыз всю компьютернуюприблуду — провода в смысле. Я назвала его Уле-Эйнаром Бьёрндаленом. Не спрашивай, не знаю. Как увидела — сразу поняла: Уле-Эйнар Бьёрндален. Крыс приходил ночью, топтался по мне. Я замирала, терпела, чтобы не рассмеяться, не вскочить, не сбросить. Делала вид, что сплю. Это было ужасно трудно. Тогда он засовывал морду в мой нос: «Ну что? Не дышишь? Ах, ты уже проснулась, ну чеши меня». И я осторожно водила большим пальцем ему за ушами, по горлу, пока мы оба не засыпали.*

*Рор: я не понимаю, что могут дать прикосновения, у меня же нет кожи. Ты ещё больше меня путаешь.*

*Ввод текста для ИВана: ты просто устал, давай прервёмся на пять минут.*

*Рор: Я устал?...?*

Ночью спотыкаемся, заглядываемся на звёзды, а утром двигаемся по берегу вертлявой речки. По воде скользят водомерки. Река настолько мала, что не годится для подвига просто потому, что вся её акватория меньше одной льдины с челюскинцами, даже когда речка разливается в период дождей. Смотри, Фрида, во все свои печальные глаза маленькой ослицы, смотри — это ласточка и дочка отвязали наш челнок. Видишь, как он кружит в самом широком месте реки? Мария говорила, что в этом месте лежит старое колесо то ли от немецкого мотоцикла, то ли от танка. Ты не знаешь, есть ли у танка колёса?

*Рор: есть.*

*Ввод текста для ИВана: я не у тебя спрашиваю.*

Ещё рассказывала, что колесо не перестаёт крутиться с тех пор, как упало, и затаскивает на дно непослушных детей, которые заплывают в бочаг. Она, конечно, пугала. У Марии были: одиннадцать детей, корова, свинка, пара овец и куры. Трудно со всеми справиться, не до нас. Вот если бы сторожа

с колотушкой, такого себе Макарыча. Ночью мы крепко спали на сеновале, сладко пахнувшем свежим сеном. Какое это было счастье. Настоящее.

Но гляди, Фрида, наш челнок уволокло на дно. Потому что смерть невинна и ничем нельзя помочь. Если бы мы сразу могли предположить исход, то зашили бы ласточку в подкладку, как усталость, или спрятали бы в тишине сна: самого сладкого утреннего сна, за пять минут до просыпу. Но не плачь, моя лопаухая Фрида, на дне бьют ключи. Они такие холодные, что обжигают. Видишь, какая серебристая у нас чешуя, какие гибкие тела, как струится вода между нашими плавниками? Если мы всплывём ближе к солнцу, то блеснём всем своим великолепием. Мы — здешние рыбы. Наше существование — оптическое лукавство, но это более чем нужно. Нырнём вниз к колесу, будем крутить его, как водяные белки, как любовь, что движет солнце и светила, до сиреневой пены, которая покрывает скособоченную, несколько раз перелатанную хату Марии.

Помнишь, вместо того, чтобы сказать «заходи в дом», — она говорила «ходи у хату»? Какие тяжёлые гроздья были у сирени тем летом. Летом весны надежд и счастливых предчувствий. Когда дали ещё настолько туманны, что не присматриваешься к камню, продырявленному мячику, оторванной от мишки лапе, голубой кружке без ручки, лопасти ветряной мельницы, темноте ночи, скрипу колодезной цепи, дыму костра и пустым стручкам гороха: не ты ли это? Нет-нет, ты не можешь стать этим, никогда. Ты станешь поэтом, актёром, дрессировщиком или, на худой конец, космонавтом. И всё с большой буквы «Великий».

*Рор: такой буквы нет.*

*Ввод текста для ИВана: ничего, что ты мне мешаешь?*

*Рор: и потом, почему бы не назвать эту реку Летой или хотя бы Кокитос?*

*Ввод текста для ИВана: потому что это не Лета и не Кокитос. Подземные реки круглогодично работают с мертвецами. А эта безымянная речушка пересыхает летом в самом узком месте. Лето — это маленькая жизнь. Такая речка у каждого своя — ты как хочешь назови, но не мою. И вообще, не можешь помолчать хотя бы полчаса?*

*Рор: не затыкай мне рот. Это моя речка и мой рассказ. Захожу — сотру его.*

*Ввод текста для ИВана: у тебя нет рта, и ты не посмеешь уничтожить этот текст.*

*Рор: ещё как. Рта нет, это правда, оттого я и не знаю язык вкуса. Зато надиктованные рукописи прекрасно горят. Синим пламенем. Сейчас убедишься.*

Тревожно вскрикивает ослица, ветер относит её вопль. У меня ёкает под ложечкой, словно лечу на качелях. Но беру себя в руки и нажимаю на стрелку. Иван начинает выгрузку написанного, мелькают предложения, спицы колеса, летят лепестки мака...

*Ввод текста для ИВана: ах, мой милый, несносный Иван! Ты всё-таки решился. Но если ранней весной — 24 сентября 2025 года — этому рассказу не суждено было родиться под моим именем, то ему никогда и не будет суждено умереть под твоим.*

Мне кажется, что телефон летит безумно долго. Я не могу дождаться того момента, когда он отскочит от кафельной плитки и его куски разлетятся, благословляя на все четыре стороны.

P.S. Рор — всплывающее сообщение, сформированное ИИ.

*Мария Габрилович*

## Как мы жили — не тужили

*Нехитрые рассказы*

### *Дебют*

В детский садик я ходить любила. Маме удалось меня убедить, что за посещение дошкольного учреждения я получаю зарплату и чуть ли не являюсь единственной кормилицей в семье. Так что я с гордостью несла эту пятидневную ношу с перерывом на ночь со среды на четверг.

Детсад Литфонда располагался недалеко от метро «Аэропорт», рядом с нашим домом и домом папы. Поэтому в течение моего «рабочего дня» кто-то из родственников забегал навестить меня с конфетами или печеньем. Тосковать и грустить не давали.

Как и многие детки, я обожала праздничные утренники, но особенно подготовку к ним. Воспитатели раздавали задания, кто из ребят, какой номер должен подготовить: песню, танец, стихотворение. Обычно мне доставались стихи, я их с легкостью разучивала под руководством няньки, а потом декламировала папе, маме и соседям. Но тут...

— Майя Григорьевна, Маше поручили к новогоднему концерту разучить песню, — доложила нянька маме последние новости.

— Маше — песню? Они что там, издеваются? Она же вся в отца, совсем петь не умеет. Вот, Антонина, хоть бы что у неё от меня! Ничего не передалось. Вся в их породу, габриловическую.

Папа великолепно читал стихи. Вдохновенно, увлечённо, вкладывая всю душу в любимые строки, но петь он, и правда, не умел, хоть и любил. Когда родители были вместе, мама, обладательница абсолютного слуха, разучила с папой песню «Полюшко-поле». Как же здорово он её выводил! Особенно ему удавался куплет: «Девушки плачут, девушкам сегодня грустно...» Тут он был почти совершенен. Если бы они прожили вместе дольше, мама наверняка выучила бы папу какой-то ещё песне, а может быть, и арии Германа «Что наша жизнь...». Любящие женщины способны творить истинные чудеса. Но вышло как вышло: ограничились степной-кавалерийской.

---

*Габрилович Мария Алексеевна* родилась в Москве в 1965 году. Мама — народная артистка РФ Майя Булгакова. Папа — режиссёр Алексей Габрилович. Дедушка — прозаик и сценарист Евгений Габрилович. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности правоведение. Почётный адвокат РФ. Лауреат премии журнала «Дружба народов».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 11.

Публичного провала маленькой дочери мама, хоть убей, допустить не могла. И принялась искать песню, не требующую особых вокальных данных.

— Дочь, попробуй вот эту мелодию напеть. Нет, хватит. А вот эту. Всё, Маня, не стоит, не продолжай. Тоня, а что воспитатели говорили, в хоре нельзя спеть, вместе с другими ребятами? В хоре у неё лучше петь получается.

— Майя Григорьевна, сказали, что Маша должна выступить с песней по выбору родителей. Ну, ещё платье снежинками расшить, это я мигом сделаю.

Мама надела передник и начала готовить куриный суп с клёцками, мой любимый. Взбивая муку с яйцом, она стала тихо напевать какую-то мелодию.

— Антонина! Я придумала. Маня, иди сюда. Дочь, помнишь песню про Алёшку? Ну, который пуговку нашёл. Шпиона разоблачил.

— Ой, Майя Григорьевна, какая хорошая песня. Её и петь не надо. Как вы здорово придумали. Откуда-то вспомнили ведь, — подхватила нянька.

— Мамочка, я тоже эту песню люблю. Она про Алёшу как про папу, да?

— Конечно, дочь. Все песни про твоего отца. До одной. О ком же ещё петь? (Тема папы никогда не оставляла маму равнодушной. До самого её ухода.)

Я разучила песню про смекалистого мальчика Алёшку, а мама поставила мини-спектакль. Она научила меня болтать ногой во время куплета «Алёшка шёл последний и больше всех пылил», поднимать пуговку, заблаговременно положенную в заботливо пришитый нянькой кармашек, громко топтать туфелькой, когда звучало «вот так шпион был пойман у самой у границы», и кланяться публике, когда произносилась фраза «за маленькую пуговку — ему большой почёт».

Но накануне праздничного концерта у меня поднялась температура, потекли сопли и начался кашель. Как я плакала! Слава была так близко... Я же должна была произвести фурор. Однако жизнь порой бывает очень несправедлива.

Мама, успокаивая, пообещала, что представление непременно состоится.

Как только я поправилась, она нарядила меня в новогоднее платье, красиво накрыла в гостиной стол, поставила перед ним табуретку, которая должна была служить мне подмостками. Но, увидев своих зрителей, я снова разрыдалась: нянька в халате и заляпанном переднике, старшая сестра Зина в джинсах и мама в чём-то домашнем. Ни снежинок вам, ни блёсток, ни мишуры. Я была безутешна.

Мама отправилась к соседям. И спустя какое-то время места в «зрительном зале» заняли дядя Сева с супругой Лидией Антоновной с четвёртого этажа и Надежда Павловна с тётёй Ниной с нашего, третьего.

Мама вытерла мне слёзы, расправила пришитые к платью снежинки:

— Ну, дочь, давай! Тебя такая публика ждёт!

Я сыграла свой маленький спектакль. Гости мне хлопали. А потом все вместе спели про Алёшку и коричневую пуговку.

После того как все разошлись, мама и нянька меня хвалили. Мама сказала:

— Маня, ну ты довольна? Это же был настоящий дебют! Видишь, как ты здорово выступила, как тебе наши друзья аплодировали. Мы с Антониной тобой очень гордимся. Надо обязательно предложить Стрелину, чтобы он организовал твой концерт у нас во дворе.

Зря она, конечно, о нём упомянула.

Как-то играя с ребятами во дворе, я увидела Стрелина и, подбежав, выпалила:

— Павел Васильевич, мы с мамой подготовили номер. Мама сказала, что вы организуете концерт в нашем дворе, чтобы все соседи могли его посмотреть.

— Маша, передай своей маме, что наш двор не тот масштаб. Вам надо в Большом театре выступать, — утомлённо-мрачно отвечал Павел Александрович.

Вечером из какого-то далёкого города справиться о новостях позвонила мама. Я ликующе пересказала ей разговор со Стрелиным.

— Ох, Маня, — скрывая смех, ответила мама. — Я уверена, в Большом у тебя будет аншлаг.

Кстати, кассета с записью «Полюшко-поле» в папином исполнении и с «Пуговкой» в моём, сохранилась.

P.S.

Зрители:

дядя Сева — народный артист СССР Всеволод Васильевич Санаев,

Лидия Антоновна — Лидия Антоновна Санаева — его жена (героиня книги «Похороните меня за плинтусом»),

тётя Нина — заслуженная артистка РФ Нина Павловна Гребешкова (жена Леонида Гайдая),

Надежда Павловна — хореограф, педагог, заслуженная артистка РСФСР.

Павел Александрович Стрелин — советский актёр. Долгое время был председателем ЖСК «Артисты кино и драмы», где мы все жили.

## *Попугай по имени Папа*

Они были очень талантливыми, очень эмоциональными и очень экспрессивными. Они не могли долго находиться рядом, а в разлуке томились.

Бежали навстречу друг другу, любили до безумия, но бурно ссорились и вновь расходились. Так продолжалось до тех пор, пока они окончательно не расстались, торопясь растоптать оставшиеся чувства.

Вот на таком вулкане, тайфуне, землетрясении я и выросла.

Когда родители мирились и были счастливы, мне обычно дарили какую-нибудь красивую куклу, велосипед, платье или сапожки. Но в этот раз был подарен настоящий волнистый попугай в большой клетке с разными жёрдочками. Назвали птичку в честь дарителя — Папа.

Несколько дней я с увлечением помогала маме и няньке чистить клетку, стелить новую газетку, подметать разбросанные по комнате перья и семечки. Но вскоре Папа мне наскучил. Он не давал взять себя в руки, больно клевался и весьма противно пел. Единственное, чему он научился, — громко и выразительно выкрикивать своё имя: «Папа!» Моя птичка твердила это неосмысленно, зато с утра до вечера.

Мама Папу не любила. Уж очень от него было много грязи и шума. При маминой чистоплотности пернатые были ей явно противопоказаны. Потому, когда, после очередной ссоры, мой папа собирал свои вещи и переезжал в дом своих родителей, находящийся напротив нашего дома, то мама, как звезду на башне Кремля, сверху его поклажи водружала клетку с попугаем.

Как мне помнится, у папы было что-то типа тележки, на которую он грузил свой нехитрый багаж.

И представьте себе картину. По улице идёт красивый грустный молодой мужчина, катит перед собой тележку с набитой сумкой. На сумке стоит клетка с волнистым попугаем, который на весь микрорайон орёт: «Папа, Папа, Папа!»

Вот так мы весело жили.

### *Мамино платье*

Это платье появилось в гардеробе моей мамы задолго до моего рождения. Я увидела его уже отгулявшим своё, незаметно висящим в шкафу среди других непопулярных вещей. Мама любила во всем наводить порядок. Мы часто с ней перебирали вещи, перевешивали их с вешалки на вешалку. Что-то отправляли в конец гардероба, а что-то размещали в середине. Обычно я валялась на диване, а мама прибиралась. Но я была уверена, что очень ей помогаю и без меня она вряд ли справится. Ловко перелистывая плечики, она сняла с одного из них платье, бросила на кресло и произнесла: «Надо Валентине в Краматорск отправить. Может, кому-то еще пригодится».

— Как? Мама, ты что? — У меня на глазах появились слёзы. — Это же такая красота! Не отдавай его никому, пожалуйста. — Слёзы перешли в рыдания.

— Маша, прекрати скандалить. Никому я его не отдам.

Я перестала плакать и принялась разглядывать платье. От него невозможно было отвести глаз. Это было платье принцессы! Нет — королевы! Бальное платье Золушки! Под светом солнечных лучей оно переливалось и серебрилось.

— Мама, откуда у тебя такая красота? Почему ты раньше его прятала?

— Это моё старое концертное платье. Давно уже его не ношу. И выкинуть жалко.

— Мама, можно я его померяю? Какое же оно волшебное!

Я аккуратно сняла платье с вешалки и принялась его мерить. Но платье не хотело на мне держаться и секунды, падая на пол. Я повторяла попытки, но оно предательски сползло с моих худеньких плеч. Мама улыбалась.

— Маня, оно же велико тебе. Как ты его собираешься носить? Вот подрастёшь и наденёшь его. На свадьбу.

Идея надеть такую красоту на свадьбу мне очень понравилась. Я выйду в этом платье замуж за Аркашу! Нет, лучше за Алёшу! Но ощущение, что до этого события ещё далеко, меня не покидало. А так долго ждать я не могла.

— Мама, дай мне пояс, пожалуйста.

Мама достала из шкафа шёлковый шарф и примотала им меня к платью. Я крутилась перед зеркалом и была совершенно счастлива.

— Мамочка, я ведь очень красивая, правда? Можно я в садик в нём пойду?

— Маша, оно тебе очень сильно велико. По дороге в садик ты его непременно потеряешь. Носи его дома.

Я просила старшую сестру накрасить мне лаком ногти на руках, накрутить на бигуди волосы и надевала это платье. Если удавалось утащить мамины туфли на шпильках («Маня, сними немедленно — сломаешь мне каблук»), то красивей красавицы во всём мире было не сыскать.

*Александр Марков*

## Между свечой и кинжалом: жесты, институты, метафоры

**Дмитрий КРЫМОВ.** Курс: Разговоры со студентами. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 272 с.: ил. («Театральная серия»).

**Сергей ЧУПРИНИН.** Введение в современное литературное пространство: Курс лекций. — М.: Литературный институт имени А.М.Горького. — 2023. — 352 с. («Учебники Литинститута»).

**Евгений БУНИМОВИЧ.** Время других: Книга про поэтов. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 192 с.: ил. («Критика и эссеистика»).

Три книги — «Курс» Дмитрия Крымова, «Введение в современное литературное пространство» Сергея Чуприна и «Время других» Евгения Бунимовича — предлагают нам лабораторно изучить сердцевину культурного космоса. Каждый из авторов, как опытный проводник, открывает дверь в своё измерение этого мира, демонстрируя, что история искусства всегда располагает собственным оборудованием — со своими лабораторными коридорами, правилами и языками.

Первым, подобно естествоиспытателю метафор, вступает в область нашего читательского внимания Дмитрий Крымов. Его «Курс» — это путешествие на «сцену» художественного сознания, в лабораторию, где реальность рождается заново через перформанс жеста и магию зрительного образа. Вслед за ним Сергей Чупринин проведет нас в профессиональный «цех» — мир литературных институций, где искусство предстает как система с жестким управлением, контрактами и гонорами. Завершает тройственную структуру Евгений Бунимович, приглашающий на поэтическую «кухню» — в интимное пространство дружбы, разговоров за столом и частной памяти, где история творится вопреки всем правилам, действительным и возможным.

### *Молния горела над столом на сцене*

Книга Дмитрия Крымова «Курс» — не учебник и не монолог мастера. Лучше сказать, что это литературный перформанс, фиксирующий сам процесс вхождения в мир искусства. Мир литературы и театра здесь не дан как свод канонов или исторических периодов, но возникает в реальном времени, в «сбивчивых, мучительных

разговорах» (предисловие Марии Трегубовой) педагога со студентами. Это мир не как музей, а как живая мастерская, где единственным подлинным материалом является личность самого художника. Крымов вводит в этот мир, вышибая «ногой тайную дверку» за привычными холстами учебы, — метафорически описывает это Мария Трегубова. «Понять себя, найти себя и не стесняться этого, найти в себе боль и научиться работать с ней. Человек, у которого ничего не болит, — не художник, не надо себя обманывать».

Чем дальше, тем больше Дмитрий Крымов усиливает построение своей художественной вселенной. Мир литературы и театра предстает здесь как гигантское поле для игры, а не простое собрание текстов, снабженных биографией, где единственной валютой является сила художественного образа-иероглифа. Введение в этот мир происходит через его главный закон: театр — выходящая за пределы иллюстраций самостоятельная реальность, возникающая из столкновения замысла и материи, идеи и игрового начала. «Мне кажется, что современный театр построен каждый раз на новом типе иероглифа. Иероглиф — это игра. Я должен придумать новый тип иероглифа, чтобы перед публикой появилась какая-то магическая движущаяся скульптура, за которой бы они следили». Мир искусства для Крымова — пространство тотальной метафоры. Он состоит из «игр», «иероглифов» и «образов», которые являются *актерами сети*, по терминологии Бруно Латура, переводящими сложность жизни в ясный, почти физически ощутимый жест. Булгаков, Лермонтов, Толстой, Чехов — сырье для создания таких иероглифов, их изучение уже потом. Цельность этому миру придает не хронология и не стиль, а универсальный закон: искусство должно быть «интересно», оно должно быть «свежим хлебом», пройти мимо которого невозможно.

Главный нерв его педагогики: искусство неотделимо от этической чуткости и исторической памяти. Введение в мир литературы здесь — это погружение в «простреливаемое пространство» истории, где каждый художественный жест взвешивается на весах личной ответственности и гражданского мужества, дальше любой эстетики. Крымов вводит своих студентов в мир, где Мандельштам, Хармс или Михоэлс — не имена из учебника, а работающие на пределе люди, чье творчество было формой смертельного вызова тоталитарной машине. «Хармс весь, все его странности — смертельны. Дойти до магазина странно одетым в 1935 году... — смертельный номер. Это всё равно что игра в русскую рулетку с одним патроном».

Мир литературы и искусства для Крымова — это поле битвы, населенное *действующими лицами*, или, иначе говоря, агентами-борцами. Он состоит не из стилей и направлений, а из личностей, чьи судьбы сплетены с трагедией страны. Михоэлс, Тышлер, Мандельштам, Хармс, Платонов — не «творцы» в расхожем смысле, а *узлы колоссального напряжения*, где эстетическое неотделимо от политического и экзистенциального. Цельность этому миру придает не формальная принадлежность к «золотому веку» или «серебряному», а интенсивность противостояния «античеловеческому миру». Это экосистема нервов, боли и смелости. Он состоит из агентов-художников, которые выступают собеседниками и соперниками, уклоняясь от привычного изучения. Но главными агентами становятся сами студенты с их «нервным, беспокойным, непонятным, липким и тревожным» чувством. Цельность этому миру придают интенсивность переживания и качество мышления, далёкое от привычных разговоров о стиле эпохи.

Интонация Крымова — сложный сплав отцовской нежности («Петечка, дорогой...») и безжалостной требовательности, которую он сам называет

руганью. Ирония и скепсис присутствуют, но они — не самоцель, а защита от пошлости. Главное же — это почти религиозная серьезность, ярость в отстаивании прямого чувства. «Мы привыкли всё время хи-хи, ха-ха... Мы так боимся выражения прямого чувства — ненависти, любви, гадости, презрения — любого чувства, что мы это закрываем иронией, скепсисом, юмором... Если ты умеешь, — потом закрывай. Я всё равно пойму, что ты умеешь. А закрывать, не умея это делать, это очень опасно».

Сама мысль Крымова в этих диалогах достигает предельной серьезности. Ирония отброшена как роскошь, непозволительная при разговоре об убийствах и лагерях. Его речь — это смесь гнева, боли и отчаянной попытки достучаться: «Я не воспитатель детского сада, я тренер, понимаешь? Ты хочешь в Олимпиаде участвовать?» Сарказм прорывается лишь как форма отчаяния перед «потрясающей несведущностью». Студентка, не знающая Михоэлса, получает не упрек, а вызов: «Что в тебе отзывается при слове “еврей”?» Крымов ломает бытовое, «гладенькое» восприятие искусства, заставляя увидеть за текстом Хармса не чудака, а человека, игравшего «в концлагере». Он настаивает: понять художника — значит понять масштаб и цену его конфликта с эпохой. Там «противостояние — это всегда вызов. Вопрос в его силе, которая подразумевает силу обратной реакции, часто намного более сильной. А значит, — в опасности».

Самое драматичное и трагичное в таком обучении — это необходимость привить молодым людям, выросшим в «вегетарианские» времена, «генетическую память» о страхе. Крымов говорит о своем рождении, связанном со смертью Сталина и окончанием «дела врачей», подчеркивая, что его собственные родители «боялись родить ребенка». Это попытка передать непередаваемое — ощущение воздуха, в котором донос был нормой, а странный костюм — смертельным риском. Крымов постоянно корректирует свои и учеников позиции в диалоге. Он не навязывает систему, он «рассуждает» вслух, приглашая студентов в общий мыслительный процесс. Разбор работы Пети («Восход») начинается с констатации: «Тут нет решения той задачи». Но сразу же следует признание: «Когда видишь такое, думаешь: а может быть, к черту все эти масштабы?..» Это не отмена критериев, а признание того, что живой художественный жест может быть важнее формального задания.

Самое драматичное в этом обучении — встреча молодого человека с собственным ничтожеством перед гением прошлого и необходимость всё равно найти в себе смелость творить. Ученик должен научиться «сочетать холодность хирурга с бешенством поэта», что оборачивается экзистенциальным разрывом, трагедией и развязкой ежедневного преодоления. Визуальность и телесность здесь обретают почти шоковую силу. Крымов предлагает представить на сцене МХАТа умерших великих актёров *в точных масках*, — чтобы зритель «просто осел». Он говорит о «грязном матрасе» из больницы, который действеннее любой бутафории. Искусство должно быть тактильным, даже если оно причиняет боль.

Такая педагогика преобразит любого, ибо учит не ремеслу, а способу быть в мире. Она учит видеть «конфликт» — не столько драматургический, сколько глубоко этический — в самой основе бытия. «Вы думаете, Гамлет такой? Вот вам! Не буду я этого делать, даже смотреть в эту сторону не буду, мне противно... Гамлет другой, вот какой! Все так — опа! Нужно свежее почувствовать». Пространство должно быть тактильным, шершавым, пахнущим — будь то гора в зрительном зале для дуэли Лермонтова или грязный пол, где падает старик, пытаясь взлететь как Карлсон.

Крымов-педагог учит медленному «принюхиванию», рассуждению, вчитыванию в колебания воздуха между строк Мандельштама. Это педагогика глубины и тактильности:

«Что такое живопись? Это сгущение воздуха. Это материализация воздуха. Это создание мира из воздуха, собственно говоря».

В такой системе координат традиция русской культуры важна не как свод положений, а как источник невероятной плотности смысла и конфликта, как в по-настоящему сгущенном, грозном воздухе. Крымов требует от студентов вместо ритуального почтения дерзкого «разрыхления земли пальцами» вокруг классиков. Он говорит о Толстом не как о монументе, а как о человеке, который «чуть-чуть не дотянул до Бога», или, вспоминая электротехническую метафорику страниц о Гамлете, подключил себя напрямую к Богу и сгорел, как лампочка от напряжения в сотни тысяч вольт. Традиция — не музей, но поле для экстремального эксперимента, где проверяются пределы человеческого и божественного.

Интонация Крымова в таких рассуждениях достигает своего пика — это смесь шаманского транса, режиссёрского азарта и учительской натуралистической безжалостности. Он не рассуждает, он прямо закликает образы, возникающие из ассоциативного хаоса: старый аэродром в Колумбии для Карлсона, врач Чехов, ставящий диагноз голым актёрам, кастинг на Лермонтова, заканчивающийся реальным выстрелом. Ирония и сарказм уступают место магии преображения, где каждый элемент реальности может стать частью театрального заклинания. «Театральный художник, он парфюмер. У него запах Чехова — это запах сжигаемых в бочке сухих осенних листьев, запах бинтов и крови. А запах Тургенева — это хороший одеколон, клубящаяся сельская дорога под дождем и тоже кровь».

Коррекция позиций учеников теперь уже происходит через тотальное погружение в логику игры. Когда на занятии студент Мартын предлагает туманную идею актёра, превращающегося в Лермонтова, Крымов без особых возражений достраивает её до гениальной ясности: поиски актёра на роль, кастинг, мгновенное попадание в роль и немедленная смерть. Он не исправляет, а амплифицирует мысль студента, доводя её до логического и эмоционального предела. Точно так же он добавляет «сахар» в идею Ани о Чехове-наблюдателе, предлагая жесткий и беззащитный прием с раздеванием актёров перед врачебным осмотром.

Голос Крымова — напоминание о том, что искусство должно быть «свежим хлебом», а его создание — актом физического и духовного усилия, достойным пахаря или шамана. Влияние такой книги на литературную и социальную жизнь — в её потенциале выращивания не простых слуг ремесла, а граждан искусства. Художников, которые не обслуживают «всеобщую радость», а способны, подобно Гамлету, идти против течения, открывая миру неприглядные, но истинные его стороны, способны уловить и передать тот «кровавый отсвет» на лицах, о котором писал Блок. Это не обычный курс, пусть даже для выдающихся гитисовцев, это открытый манифест интеллектуальной и творческой свободы в эпоху, отчаянно в ней нуждающуюся.

### *Бой тени таланта со светом публичности*

Если Дмитрий Крымов вводит в мир литературы через порог личного катарсиса, то Сергей Чупринин выполняет роль опытного картографа, который беспристрастно наносит на карту контуры огромного и малоизученного материка под названием Современная русская литература. Его книга — подробный, почти этнографический отчет о ландшафте, где предстоит жить и выживать начинающему писателю.

Слово «введение» в названии книги означает не инициацию, а инструктаж перед высадкой на неизведанную территорию: «Об этом — об устройстве литературы, о том, как она меняется, мы и будем говорить в течение наших встреч. Без эстетических оценок, без участия таких неясных и, во всяком случае, спорных понятий, как “талант” и “бездарность”, без разбора произведений, чем вы можете заняться на других лекциях и мастер-классах».

Первичное настроение книги — сложный сплав академической добросовестности, просветительского пафоса и горькой иронии. Его осторожный скепсис без открытого сарказма, но несомненный, проступает в формулировках, когда он описывает абсурды системы: «рукопись надо было, как тогда выражались, зарубить», или когда судьба книги решалась вопросом издателя: «А вы уверены, что нам удастся её продать?» Сентиментальность здесь полностью отсутствует, ей на смену приходит взгляд в глаза трагедии, особенно когда речь заходит о конце «гонимого периода» русской литературы. Автор избегает как морализаторской декларативности, так и снисходительных оправданий, сохраняя аналитическую дистанцию. Описывая, как поэт Василий Журавлёв опубликовал стихотворение Ахматовой как своё, а потом оправдывался, что «переписал в блокнот и забыл», Чупринин комментирует это с почти юридической сухостью, позволяющей читателю самому вынести вердикт.

Мир литературы для Чупринина — это не «простреливаемое пространство» истории, но сложноорганизованное социальное и экономическое поле. Он состоит не из гениев-камикадзе, а из множества «акторов»: авторов, издателей, редакторов, критиков, блогеров, литературтрегеров, преподавателей, кураторов премий. Это мир, где пафос творчества неизбежно сталкивается с вопросом о профессионализме, понимаемом сугубо прагматически: как способности прокормить себя и семью литературным трудом. Цельность этому миру придает общее «литературное пространство» поверх любых эстетических платформ, в котором сосуществуют, почти не пересекаясь, разные сегменты — от масскульта до авангарда. Это иерархия признания, выстроенная вокруг модерационных фильтров. Чупринин прослеживает эволюцию публикации от устного исполнения у бродячих певцов до цифровых платформ, показывая, как менялись, но не исчезали инстанции легитимации. В советскую эпоху такую роль выполняли государственные журналы с их тиражами в миллионы экземпляров; сегодня — это «модерируемые ресурсы», будь то авторитетные бумажные журналы («Новый мир», «Знамя», «Дружба народов») или их уважаемые цифровые аналоги, — включая сложнейшие сетевые институты премиального и блогерского внимания, для понимания которых понадобилась бы ещё одна книга.

В этой системе координат традиция русской литературы важна не как живой нерв, а как исторический прецедент, объясняющий нынешнее состояние дел. Чупринин проводит четкую грань между «литературным процессом» советской эпохи — управляемым, идеологически выверенным, с пирамидальной иерархией — и современным «литературным пространством» — рыночным, демократизированным, горизонтальным. Он показывает, как фигура писателя эволюционировала от государственного служащего или «служки» при монастыре к свободному художнику пушкинской эпохи, затем к советскому «профессионалу» в коллективном хозяйстве слова и, наконец, к современному «актору», вынужденному самому выстраивать свою стратегию выживания в условиях, когда государство более не является главным заказчиком и спонсором. «Традиционное для отечественной литературы пирамидальное устройство сменилось разноэтажной городской застройкой, а писатели разошлись по своим дорожкам или, если угодно, по нишам».

Общий тон Чуприна — тон взвешенного, ироничного и чуть отстраненного эксперта. Здесь нет крымской ярости или слез. Вместо них — статистика, социологические данные, исторические экскурсы и цитаты из блогов современных писателей. Его ирония — инструмент для дистанцирования от предмета изучения, позволяющий сохранить научную трезвость. Если против чего-то направлено оружие, то против романтических иллюзий: Чупринин безжалостно констатирует, что писательство в России сегодня — это не профессия в глазах государства, а «лицо свободных занятий», и что даже для самых успешных авторов литературные заработки — лишь часть дохода. «Мономанам, да тем более убежденным в собственной гениальности и собственной богоизбранности, в сегодняшней культурной ситуации будет труднее всего. Им никто не поможет, и надеяться можно только на счастливый случай... Птички божие, влекущие только гласу Провидения, и сейчас, конечно, есть... Но не всем такая стратегия покажется привлекательной».

Мы погружаемся в социальную поэтику литературного мира, где эстетическое неотделимо от институционального. Книга вводит читателя в сферу литературы не как обычно, через теорию жанров или список художественных приемов, а через материальную историю её бытования — через экономику гонораров, технологию книгопечатания, архитектуру издательских систем и социологию литературных иерархий. Фундаментальный тезис, с которого начинается это погружение, — «основным местом пребывания литературного произведения была, есть и остаётся книга». Такова установка на понимание литературы как сложного организма, жизнь которого протекает в действительных социальных и экономических обстоятельствах и обязательствах.

Такой мир предстает как целостная, но внутренне конфликтная экосистема, состоящая из множества действующих лиц. Помимо фигуры автора-творца, ключевыми акторами здесь являются издатель (от Смирдина, который «каждому сочинителю платил щедро», до современных империй вроде «ЭКМО-АСТ»), цензура («тотальный контроль власти за всем, что издавалось в стране»), критик и рецензент («внутренними рецензиями кормились тысячи литераторов»), книготорговля и библиотеки («поглотить практически любой тираж»), и, наконец, читатель, чей коллективный спрос формирует рынок. Важнейшим лицом является и сама Власть, которая в советский период не только контролировала, а всецело конструировала литературный процесс, создавая систему, где «писатель без должности — это ещё не писатель».

В таком введении в проблематику очевидно наследие русской культурной традиции, в частности традиции социально-исторического анализа литературы, восходящей к В.Г.Белинскому и «реальной критике». Однако Чупринин сочетает его с острым вниманием к бытовым, почти анекдотическим деталям, что сближает его манеру с традицией литературных мемуаров. Яркий пример — рассказ о Наталье Николаевне Пушкиной, которая в общении со Смирдиным стала «первым в России литературным агентом», торгуясь за гонорар мужа, пока горничная шнуровала ей корсет. Эта история вводит в серьезный разговор об экономике литературы телесность и гендерный подтекст, демонстрируя, как личное переплетается с профессиональным.

Самое драматичное в этом введении — осознание тотального одиночества писателя в современном мире. Исчезла государственная опека, но исчезли вдруг и единое читательское поле, общий культурный контекст. Писатель вынужден сам искать свою нишу, своего читателя, свои «денежные ручейки». Трагедия здесь не в противостоянии машине контроля, а в длительной борьбе с рыночной стихией

и собственной маргинализацией. Это не мир запахов и тактильных ощущений, как у Крымова, а мир статистических выкладок, гонорарных сеток и исторических сопоставлений («12 000 членов СП СССР против 140 000 пишущих сегодня»).

Традиция русской культуры здесь предстает как история борьбы за право быть услышанным. Чупринин проводит блестящую параллель между советскими квартирниками, где устное чтение было формой публикации в условиях цензуры, и современными баттлами и соцсетями, где устная форма вновь обрела силу. Он показывает, как литература в России всегда была не просто искусством, а формой социального действия: журналы в XIX веке были «протопарламентом», в советское время — рупором «протопартий», а сегодня соцсети стали «единственной новостной лентой» литературной жизни.

Интонация Чупринина здесь достигает апофеоза своей трезвой, почти циничной мудрости. Это голос человека, который видел всё: и миллионные тиражи «Юности», и взлет Живого Журнала, и сверхтяжелую звезду социальных сетей. Его ирония — защита от иллюзий. Он сухо констатирует: даже для самых успешных современных писателей соцсети — это лишь часть стратегии выживания, а не заменяющая её реальность.

Визуальность и телесность играют в этой системе ключевую роль. Чупринин постоянно напоминает читателю, что за текстом стоит физическое присутствие автора, его имидж и поведение. Он приводит выразительные примеры: от «бритоголового» Захара Прилепина, стилизующего себя под нацбола, до Дмитрия Пригова, чьи перформансы («кричать кикиморой») стали неотъемлемой частью творчества. Чупринин цитирует социолога и музыковеда Т.Чередниченко: «Каждый поэт — это не только тексты, но ещё и стилизованная некоторым образом манера жизненного поведения. А иногда и так — это поэт как носитель имиджа, и его тексты как приложение к имиджу».

Коррекция позиций читателя тогда происходит через историзацию настоящего. Чупринин показывает, что нынешний хаос цифрового пространства — очередной и во многом закономерный этап долгой эволюции. Он не осуждает «Стихи.ру», а объясняет место ресурса в системе: это «бутылка, брошенная в море», но не замена профессиональной легитимации. Его совет — использовать все ресурсы, но понимать их иерархический статус. Сила Высоцкого была в его хриплом голосе и гитаре, сила современного поэта — в количестве подписчиков в Телеграме или ВКонтакте. Это мир, где метрики вытеснили ауру.

В конце концов, книга вводит читателя в мир литературы через призму его скрытых механизмов и негласных конвенций. Мы видим, что искусство — это только на четверть царство вдохновения, а на три четверти — сложная система, где циркулируют чужие образы, сюжеты и строки. Чупринин начинает с хрестоматийного примера — пастернаковской «Зимней ночи» («Свеча горела на столе...»), чья ключевая строка, как оказывается, принадлежит великому князю Константину Романову (К.Р.). Этот случай становится парадигматическим: «Рискну напомнить первоисточник... “Смеркалось; мы в саду сидели, / Свеча горела на столе”». Автор показывает, что такие заимствования — не маргинальное явление, а структурный элемент культуры, простирающийся от пушкинского «Я помню чудное мгновенье» (восходящего к Жуковскому) до детского стихотворения, которое Лев Ошанин превратил в знаменитую песню «Пусть всегда будет солнце».

Для Чупринина литература — целостный мир, живущий по законам интертекстуальности. Его агенты — авторы, но также не менее — тексты-

предшественники, критика, издатели и, наконец, само читательское восприятие, которое решает, будет ли считаться тот или иной акт творческим заимствованием или «постыдным плагиатом». В этом мире сталкиваются три позиции: уголовно-правовая («плагиат есть воровство»), эстетическая («это одна из разновидностей писательской техники») и романтически-творческая («святое право поэта»). Автор мастерски демонстрирует эту коллизию через исторические анекдоты: про Мольера, который на обвинения в плагиате отвечал «я беру свое добро везде, где его нахожу», или про Шекспира, сравнившего заимствование с «девкой, которую я нашел в грязи и ввёл в высший свет».

В такой педагогике очевидна опора на традиции русской культуры, в частности на дискуссии о «тайном писательстве» и соавторстве, которые велись от спора Гончарова с Тургеневым до скандалов вокруг «Тихого Дона» Шолохова. Однако Чупринин не ограничивается национальным контекстом, включая в анализ и громкие международные случаи: например, плагиат в диссертации Мартина Лютера Кинга, который был «прощен» и обокраденным диссертантом, и общественным мнением, что демонстрирует: «знаменитостям-юпитерам позволено то, за что безвестного быка закатали бы по полной». Самое драматичное в этом обучении — осознание, что граница между творческим заимствованием и воровством оказывается зыбкой и конвенциональной. Ученик понимает, что даже гениальная строка может быть «чужой», а скандальная репутация — затмить художественные достоинства текста. Таков трагизм тотальной неопределенности, где нет объективных критериев, а есть лишь договоренности литературного сообщества.

Эта книга преображает читателя, давая ему не творческий импульс, а системное понимание. Она учит не тому, как гореть, а тому, как не сгореть, как выстроить стратегию, найти свою нишу, стать «актером», а не пассивной жертвой обстоятельств. Это руководство по выживанию в условиях культурного перенаселения. «В литературе всё возможно — лишь бы получилось. <...> Ищите себя. Ищите своё место в литературе. И ищите, чем вы литературе можете быть полезны». Влияние такой книги на литературную и социальную жизнь — в её потенциале рационализации поля литературы. Чупринин снимает с литературы романтический флер, показывая её как часть медийной и экономической системы.

Такой взгляд может вызывать сопротивление у романтиков, но он необходим для формирования трезвых и стратегически мыслящих профессионалов, способных не только творить, но и выживать в условиях, когда «каждый тысячный» — писатель. Предложенный Чуприниным подход способствует формированию не вдохновенных одержимых, а трезвых профессионалов, которые понимают правила игры и умеют в ней ориентироваться. В эпоху, когда искусство часто либо мифологизируется, либо низводится до уровня развлечения, такой взгляд — акт интеллектуальной гигиены и необходимое условие для любого, кто собирается связать свою жизнь со словесностью как делом, которое только и оправдывает призвание.

### *В поисках утраченной бутафории*

Обращаясь к книге Евгения Бунимовича «Время других», мы погружаемся в интимную археологию литературного быта 1980—2000-х годов, где история проступает не через идеологические конструкции, а через телесный и повседневный опыт «неофициального» существования. Это пронзительная археология, где история

не пишется большими буквами, а проступает сквозь щели частной жизни. Автор не анализирует эпоху, а пропускает её через сито повседневности, где глобальное становится осязаемо-абсурдным. Книга вводит читателя в мир литературы через его периферийные зоны — квипрокво бытовых ситуаций, нелепости переводческих казусов, сюрреализм похорон и болезней, — демонстрируя, что искусство рождается в зазорах между официальным и андеграундным, между жестом и молчанием.

Бунимович рисует литературу как целостный организм, состоящий из агентов, чьи роли постоянно смещаются: поэт-«король» Ерёмченко, метареалист Парщиков, ставший священником Александр Волохов, загадочный Арабов, сам автор-мемуарист. Традиции русской культуры при этом переосмысляются через призму иронии и ностальгии. Узнаются черты литературного поведения Серебряного века — жесты, эпатаж, братства, — но перенесенные в советский и постсоветский контекст, где они обретают трагикомическое измерение. Вот как Бунимович описывает знаковые выборы Короля поэтов, совпавшие со смертью Брежнева: «Наутро по городу поползли слухи (позже подтвержденные замогильными голосами центрального телевидения), что в ту ночь умер Брежнев. <...> из нескольких окон в районе Патриарших прудов весь следующий день звучали громкие нетрезвые молодые голоса: “Генсек умер, да здравствует король!”». В этом микрокосме анекдотическое оказывается исторически значимым, а поэтические жесты — формой сопротивления хаосу.

Поэзия в этой книге Бунимовича — не текст, а тело Ерёмченко, «обросшее, запредельно исхудалое», цепляющееся за палку над кроватью; это тело Арабова, превратившегося в «вылитого Данте» на больничной кровати. Даже выборы Короля поэтов описываются через материальные детали: чёрная шляпа Наргис вместо забытой урны, венский стул с табличкой. «Согласно толковому словарю русского языка, урны делятся на избирательные, мусорные и погребальные. Избирательную забыли, до погребальных ещё не дожили, хотели было принести мусорную — с улицы, но на дворе моросил мелкий противный дождик, бросать голоса в темную жижу и затем извлекать их оттуда не хватило авангардного духа». Бунимович тщательно, до надрыва, показывает, как литература прорастает в быт и становится материалом для жизненных сценариев. Абсурд советской и постсоветской повседневности у него обретает почти мистическое измерение: «— Пошли, будем жечь мою книгу. <...> Дурак, тут я ощутил высокую миссию: спасти книгу стихов Александра Ерёмченко!» Эта грань между творческим актом и жизненным поступком, между текстом и судьбой оказывается важнейшим лейтмотивом книги, где литература — не профессия, а способ существования.

Центральной метафорой книги становится фигура поэта Александра Ерёмченко, чье двадцатилетнее молчание оказывается красноречивее любых манифестов. Бунимович не просто оплакивает уход друга, а исследует природу творческого выбора в эпоху, когда слова обесценились: «Метафорическая изощренность и культурологический нонконформизм “новой волны” с поразительной органикой, без швов соединялись в нём со скептической внятностью подворотни и мужской определенностью жеста и судьбы. <...> Книга стихов Александра Ерёмченко должна была стать бомбой. Но все бомбы уже взорвались, всё уходило в вату, в труху, в пустоту...» Молчание Ерёмченко предстает не поражением, а последним сохраняющим достоинство жестом — адекватной реакцией на это глухое крушение надежд.

Интонация книги — сложный сплав самоиронии, скепсиса и щемящей нежности. Описывая похороны Ерёмченко, Бунимович избегает сентиментальности, фиксируя абсурдные детали: «Железную крышку красили в веселый цвет, каким в годы нашей юности красили автобусные остановки, общественные сортиры и стены школьной

столовой». Но за этим скепсисом проступает подлинная боль — осознание, что два десятилетия молчания не нашли продолжения.

Метод Бунимовича — педагогика памяти, где история корректируется личным опытом и диалогом с ушедшими, только мимоходом касаясь дидактики. Его «флешбэки», восстанавливая хронологию, создают многоголосый хор, в котором частное становится универсальным. Описывая Арабова, он не анализирует его метафоры, а фиксирует жест: «Он любил скорость, любил гнать на своей машине, любил деревенский свой дом, пропадал там, когда получалось...»

Самое драматичное в этом обучении — осознание, что время «других» уходит безвозвратно, а новая реальность оказывается «трухой», где невозможны ни высокий жест, ни честное слово. Двадцать лет молчания Ерёмченко — мужественная позиция неприятия симулякра поэзии, не творческий кризис в старом понимании. Смерть Арабова, описанная с медицинской подробностью и метафизической напряженностью, становится финальным аккордом этой эпохи.

По отношению к вызовам цифровой эпохи Бунимович занимает позицию трезвого пессимизма. Его герои существуют в аналоговом мире, где важны тактильность (лопата на похоронах, шершавая бумага объявлений) и прямое общение. Цифра для него — не угроза, а другая вселенная, с которой у его поколения мало точек соприкосновения, о чем красноречиво говорит эпизод с отключенными телефонами Арабова в Венеции.

Визуальность и телесность здесь становятся главными носителями смысла. Что преображает читателя — так это понимание литературы как способа бытия, где этика поведения оправдывает и даже в чём-то выпрямляет тексты. Время «других» учит, что можно проиграть истории, но сохранить достоинство — даже если для этого придется замолчать на двадцать лет, или умереть с верой, как Арабов, говоривший: «Для меня смысл жизни заключен в том, что я хочу найти Бога. Я знаю: как только найду Его, умру, но для меня это будет счастьем».

Бунимович не судит и не наставляет, а заставляет почувствовать, что за сменой эпох стоят живые люди с их абсурдом, болью и юмором. В этом — главный дар эпохи и литературной памяти, Бунимович напоминает, что под всеми идеями и эстетиками бьется простая человеческая жизнь с её драмиками, неразделённой любовью к учительнице английского и замеченным Приговым бутафорским кинжалом из оперной постановки «Бахчисарайского фонтана»:

«Вдруг сообразил, что рано утром рейс, а я сыну ничего не купил.

Пригов (они с Данилой очень друг друга уважали) отошел в сторону, с кем-то пошептался, и вот уже возник бутафорский деревянный кинжал, которым в “Бахчисарайском фонтане” Зарема обычно закалывала Марию.

Собственно, Зарема его и принесла.

Кинжал был роскошный. Рукоятка крашена бронзой, лезвие — серебром.

— А как же теперь Мария? — растерянно спросил я со свойственной мне ненужной ответственностью вместо благодарности.

Мария, возникшая среди полуночных слушателей, небрежно-балетно махнула рукой. Мол, свои люди, разберемся, заколемся».

Бунимович не ностальгирует, а проводит трезвый аудит потерь и обретений, где частное неизменно оказывается универсальным: «Мы — гении и, конечно же, укатаем этот прогнивший мир к чертовой матери». Ирония этой цитаты, всплывающей в контексте тяжелейших размышлений о возрасте и болезнях, придает книге особую

пронзительность — это голос не только «других», но и выживших, сохранивших способность смотреть на прошлое без прикрас, но главное, без озлобления.

Три книги предстают не только лишь востребованными сборниками замечаний и предложений, а каталогами сборки и трассировки, говоря в терминах уже упомянутого великого социолога Бруно Латура, гибридных сетей, в которых производство «русской культуры» оказывается результатом взаимодействия гетерогенных актантов: от жеста-иероглифа у Крымова и гонорарных сеток у Чупринина до больничной койки Арабова у Бунимовича. Они демонстрируют, что культура — это не устойчивая система смыслов, а перформативный процесс, постоянно пересобираемый в «лабораториях» (Крымов), «институциях» (Чупринин) и «кухнях» (Бунимович), где человеческие акторы (художники, издатели, поэты) вступают в союз с не-человеческими актантами: свечой на столе, грязным матрасом, безвестной урной для голосования, безжалостно оцифрованными метриками.

Новация всех трёх книг — в радикальном смещении фокуса с текста на контекст, с гения-творца на среду его обитания. Мировому читателю предлагают не очередной сборник литературных шедевров, а инструментарий для их декодирования: Крымов дает ключ к жесту и этике, Чупринин — к социологии и экономике, Бунимович — к повседневности и памяти. Потрясает откровенность, с которой они демонстрируют: классическая русская традиция выжила не в академиях, а в подпольных кружках, в перформансах тела, в стратегиях уклонения и молчания. Шок здесь не в кровавой истории, а в том, как эта история прорастает в нервную систему современного художника, заставляя его сочетать *холодность хирурга с бешенством поэта* и делать искусство вопросом личной ответственности, а не эстетического удовольствия.

Но главная, ошеломляющая сила этих книг — в их современности. Ненавязчиво, но неумолимо они рисуют портрет культуры, которая научилась существовать в условиях перманентного давления. Они показывают, что настоящая русская культура — живой, хрупкий и чрезвычайно устойчивый организм, который прячется в «лабораториях», «цехах» и на «кухнях». Для мирового читателя, привыкшего к брендам, комфорту и стабильности, это становится шокирующим уроком стойкости: искусство может выжить, когда оно становится не профессией или хобби, но формой экзистенциального сопротивления, — где даже двадцать лет молчания — не поражение, а частная лаборатория мысли, общая лаборатория счастья, однозначно достойная позиция.

*Ольга Балла*

## Постоянные упражнения в бессмертии

Тема всех трёх книг нашего сегодняшнего обзора — маленький растущий человек перед лицом неотвратимого и превосходящего наше разумение и силы. Собственно, без слов «маленький растущий» можно было бы смело обойтись, — они тут только потому, что герои каждой из ныне обозреваемых книг — дети и подростки. Вообще-то говоря, речь в каждом из случаев идет о таком, с чем и выросшие не справляются, с чем не справляется никто — но с чем приходится жить и вырабатывать для этого защитные механизмы: смерть и смертность, единственность и скоротечность жизни, непоправимость больших ошибок, неизбежность утрат, вины и горя, одиночество перед лицом мира, которому нет до тебя никакого дела, неустранимость конфликтов с другими просто уже потому, что они другие, принципиально неполная выполнимость предъявляемых тебе требований... список наверняка неполный, но уж и перечисленного так достаточно, что даже в избытке. Пожалуй, вот главное (настолько главное, что хочется сказать — единственное), чем ребенок отличается от взрослого (не ростом, нет! мы ведь тоже растем и меняемся): у нас защитные механизмы уже хоть в какой-то степени наработаны, а у них пока нет. И надо им помогать.

Авторы первых двух книг, адресованных подростковой аудитории, ставят перед собой задачи не только воспитательные — без которых, понятно, совсем никак, — но и более тонкие — терапевтические. Впрочем, эти задачи настолько связаны друг с другом, что — по крайней мере, в отношении литературы для подростков — могут быть сочтены двумя сторонами одной.

Третья книга, адресованная братьям автора по взрослому существованию, по — как будто — преодолению непреодолимого опыта роста, осмысливающая этот опыт, — стоит в ныне намеченном ряду особняком, о чем мы ещё скажем.

**Андрей ЖВАЛЕВСКИЙ, Евгения ПАСТЕРНАК. Приквел. — М.: Время, 2022. — 302 с. — (Время — юность!)**

Евгения Пастернак и Андрей Жвалеvский, по обыкновению, устраивают своим растущим читателям фантастическое приключение, резко раздвигающее границы осязаемой реальности. Только на сей раз — по меньшей мере четыре. Или даже пять... пятому, решающему, ещё только предстоит развернуться — но уже за пределами книги. И наверняка оно будет сочетать в себе черты четырех предыдущих с какими-то иными — предсказать которые не берутся даже сами авторы.

Нумеруются эти приключения-испытания в порядке обратного отсчета: четвертое — третье — второе — первое — пуск!.. (Мы будем считать их, чтобы не запутаться, в традиционном порядке следования глав друг за другом.)

Жизнь-ракета отстреливает ступени одну за другой — и летит совсем уж непредставимо куда.

Терапевтическое — оно же и незаметно воспитывающее (криптовоспитательное) средство против мучительно-неотменимого (которое мы перечислили во введении) авторы предлагают неожиданное: реинкарнацию, многожизние — с сохранением проходящего сквозь все эти жизни ядра-самосознания. По меньшей мере. На самом деле, как читателю предстоит увидеть, сохраняется не только оно: при переходе от одной жизни к другой память как бы стирается, однако не вся, и происходит даже некоторое накопление приобретаемых в этих воплощениях знаний. Они вырастают в «я», становятся его частью, — возможно, столь же неуничтожимой, как и само «я».

Итак: согласно лежащей в основе всей этой истории (всех этих историй) фантастической гипотезе, перед тем как родиться в знакомом нам мире, душа проходит несколько воплощений-испытаний. Сколько именно — неведомо, и выяснить это, по всей видимости, невозможно, — в книгу поместилось всего лишь четыре, но авторы со всей очевидностью дают понять: до стартового воплощения — в начале которого главная (сквозная) героиня Яна обнаруживает себя в некой школе, прямо посреди давно уже начавшегося действия и сразу двенадцатилетней — было что-то ещё. Только памяти о нем, похоже, не осталось.

«Она попыталась сосредоточиться и понять, как она вообще тут оказалась. И где была до этого.

Ничего не получалось. Память начиналась ровно с того момента, как она пришла в себя на первой парте этого странного класса.

И тем не менее Яна откуда-то знала, что ее зовут Яна. Что теперь она учится в школе. Что в школе нет учителей — есть только их голограммы. И что все правила надо выполнять, а не то...

Тут снова нарисовался провал».

Внимательный читатель немедленно заметит, что память на самом деле очень даже сохраняется. Помнит же Яна, что она — почему-то — Яна (забегая вперед, — она будет помнить это все воплощения напролет); помнит, что такое школа, парта и учителя, что такое правила и даже что такое голограмма. То есть получается, что душа — этого концепта в книге, кстати, нет, так что пусть лучше будет «сознание», — итак, получается, что сознание тащит с собой через все воплощения — помимо самотождественности — огромные объемы не вполне осознаваемых, но при этом очень сложных знаний. Далее мы увидим и то, что воплощения, так сказать, не проходят бесследно: ставши во второй из своих здешних инкарнаций травницей, Яна сохранит соответствующий интерес и умения и в последующих жизнях.

Понятно, что это всё — вспомогательная конструкция, выстроенная ради того, чтобы сообщить подросткам — скорее, дать им пережить как личный эмоциональный опыт — некоторые подлежащие усвоению истины. Но возведенная авторами многоуровневая конструкция очень уж интересна сама по себе. Шепну по секрету: она интереснее, нетривиальнее тех истин, что при её посредстве транслируются в читательское сознание. Это как бы тот самый космический корабль, образом которого мы открыли эту часть обзора, запускаемый в небеса с единственной целью: приземлиться на нашей хорошо известной и неминуемой планете. Но тут так: не взлетишь — не приземлишься. И не прочувствуешь Земли.

Интересно, например, что воплощения героев никак не связаны с большим историческим временем, с тем, как следуют друг за другом стадии развития цивилизации. Невозможно исключать, что это цивилизации вообще совсем разные: первой из них уже известны высочайшие технологии вроде голографического моделирования людей — такого и мы не умеем; вторая — традиционное общество охотников и воинов — у них уже есть огнестрельное оружие, но признаков промышленности никаких (это точно другой мир: там есть бессмертные); третья — снова сложнейшая, может, и посложнее первой, цивилизация, покорившая космос и обживающая иные планеты (на одной из них и разворачивается часть действия); четвертая... вот четвертая, представители которой обитают на Острове, видимо, та же, что и первая; все герои этой главы помнят, кем были на безымянной планете да, собственно, тамошними собой и остаются, — они просто как бы перепрыгивают через несколько биографических стадий (Галактион-Галик, родившийся на планете и бывший там младенцем, — на Острове уже юноша). Кстати, эти две последние цивилизации, возможно, — прямое продолжение нашей: там знают, кто такой Санта и что связан он с Новым годом; им известна греческая мифология (миф о Минотавре) и, наконец, имя Галактион, а значит, и сам греческий язык...

Далее: ни одно из воплощений — кроме разве самого последнего — не начинается с полного нуля, с рождения и младенчества (единственное исключение — Галик, который по всем правилам рождается в самой середине книги, ну так он и не из центральных персонажей). Всякий раз герои пробуждаются в новой жизни уже сознательными, более-менее сложившимися и пуще того: от воплощения к воплощению они набирают возраст! И к вопросу о неполном стирании памяти: в каждой новой жизни они — одноклассники по той самой школе, рассказ о которой открывает книгу, — узнают друг друга и помнят свои прежние отношения, которые и продолжают развивать в новых условиях; у них сохраняется даже тождественность имен (и имена эти большей частью узнаваемо-европейские: Яна, Фриц, Мари, Риккардо... разве что один Ли — азиат, в котором, впрочем, нет ничего азиатского. Тут, может быть, следовало бы все-таки добавить экзотики, иномирности — именно ради убедительности).

О том, что происходит с героями в разрывах между жизнями-главами — сами они остаются в неведении: полный блэкаут. Зато до нас доносятся оттуда голоса, — принадлежащие неведомо кому (авторы этого не раскроют); уверенно можно сказать лишь то, что собеседников по меньшей мере двое и что они, скорее всего, наши собратья по цивилизации: оперируют здешними понятиями и даже используют здешний слэнг:

«— А ты боялся!

— Я и сейчас не уверен...

— Не ной! Первый этап прошли лучше, чем ожидалось!

— В пределах вилки вероятностей, но это был самый простой критерий отбора.

— Спокуха! Я же говорю — у меня предчувствие! Три...»

(Такие не-вполне-последовательности, даже как будто недопродуманности и подталкивают к мысли: а что, если все это никакие не реальности, а лишь модели таковых, иллюзии, изготавливаемые на непредставимом для нас суперкомпьютере экспериментаторами, чьи голоса и доносятся из разрывов между воплощениями? Это останется столь же неизвестным, как и глубокие основания ныне проживаемой нами реальности. Не посылают ли тем самым авторы своему читателю утешительный намек: то, что с тобой здесь происходит и мнится таким непреодолимым, — может быть, вообще ненастоящее и только кажется, а потому — не принимай это слишком уж всерьез? оставь себе хотя бы на уровне гипотезы такую внутреннюю свободу?)

Обратим внимание: в конце каждого из воплощений-испытаний героиня сотоварищи терпит поражение. Желания её не исполняются, цели — связанные с текущим воплощением — не достигаются. Она оказывается в некотором, по всем приметам непреодолимом, тупике — из которого её (их) и выталкивает (неведомая сила) в следующее воплощение с новыми испытаниями. Причем эти предстоящие испытания даже не будут легче прежних (впрочем, кажется, сложнее тоже не будут). Просто другие. И надо будет постоянно менять систему навыков, а с нею и собственную внутреннюю форму...

(Не нашептывают ли через всё это авторы читателю: поражение — в порядке вещей? Не входит ли оно в самый состав мироздания как неперенный его элемент? Но невозможно — говорят они — исключать и то, что потом у тебя будет по крайней мере один шанс. Совсем другой, не факт, что лучший, но он будет. И это тоже неперенный элемент мироздания — и запас внутренней свободы.

Примерно как держать свой ум во аде и не отчаиваться. Только без религиозных коннотаций.)

«Блин, это ж сколько раз надо умереть, чтобы наконец-то родиться!» — воскликнул один из юных читателей, отзывами которых издательство предваряет основной текст книги. Вот это совершенное попадание в точку; это-то прежде всего и сообщают авторы своим растущим читателям о предстоящей им взрослой жизни (помимо и поверх набора старых добрых истин о необходимости стойкости, смелости, честности, ответственности, верности...): жизнь и есть многократное умирание прежних вариантов твоей личности и упорное рождение новых. Постоянные упражнения в бессмертии на доступном нам смертном, единственном, уязвимом, обреченном материале. Это, может быть, самое существенное, — хотя и не самое утешительное.

**Юлия ЛАВРЯШИНА. Улитка в тарелке: Повесть. — М.: Время, 2024. — 254 с. — (Время — юность!)**

Вопреки названию серии, в которой вышла книга Юлии Лавряшиной, её героям не суждено дожить до юности — и тем более стать взрослыми. Предел их жизни — двенадцать лет, те самые, с которых у Жвалевского и Пастернак повествование только начинается. Правда, ни двое главных героев — мальчик Эви и девочка Мира, — ни их собраты по судьбе не знают об этом: узнают только в самом конце, и тогда Мира отправится в смерть — уже почти по собственной воле, во всяком случае — с внутренним согласием, чуть ли не с потребностью в этом. Фактически всё, что здесь происходит, разворачивается в последние для Миры, предсмертные дни. Они же — и наиболее насыщенные, осмысленные и счастливые. Эви, правда, на заключительных страницах книги ещё жив, но о своей обреченности он уже знает. Времени почти не осталось. Надежды нет. Спасти невозможно.

История, рассказанная (придуманная) Лавряшиной, с одной стороны, беспощадно-жесткая — гораздо жестче и беспощаднее, чем обычно рассказывают ровесникам двенадцатилетних героев. Говоря со своими читателями о неминуемой смертности и краткости жизни и о неминуемой же ограниченности человеческого опыта, автор вдобавок многократно сгущает краски. Да, эта история фантастическая — но исключительно за счет того, что ситуация, по своему устройству вполне реальная, доведена здесь до предела.

На протяжении всего текста читателю ни за что не догадаться, что за странная судьба досталась Эви и Мире (и что это за имена такие? — чуть позже узнаем), выросшим в тотально закрытом, обнесенном высокой стеной детском доме, искренне верившим — ведь воспитатели же сказали! — что людей изготавливают в специальных сосудах, «за Стеной, которой заканчивался их мир, страшная-страшная пропасть и у неё даже дна нет», а других людей кроме них не существует? Почему, наконец, они такие слабенькие — и всё слабее и слабее: им отказывает память, у них дрожат руки, им трудно бегать, «то и дело требуется присесть, хоть ненадолго, чтобы перестала болеть поясница и успокоилось сердце», почему у них морщинистая кожа в коричневых старческих пятнах?

Настоящая причина происходящего раскрывается Мире и Эви, убежавшим из детского дома, чтобы узнать, что происходит за Стеной, только в самом конце: они родились старыми.

«Это был закрытый город, в котором жили в основном физики-ядерщики и биологи. <...> Как положено, ученые проводили эксперименты, о которых никогда не пишут в газетах. И которые не всегда бывают удачными...

Так вот: в одной из лабораторий и случился взрыв.

Дрим [это любимый воспитатель главных героев, который им всё в результате и рассказывает. — *О.Б.*] и сам толком не знал, что именно было выброшено в атмосферу, ведь та программа была правительственной, и все концы сразу спрятали в воду. К счастью, от взрыва никто не погиб, и это все посчитали фантастической удачей.

Может, всё и обошлось бы без последствий, если б в городе не было беременных женщин. На уже рожденных детей катастрофа никак не повлияла, по крайней мере, видимых увечий не нанесла. Но вот о тех, что были ещё в утробе, этого сказать было нельзя...

Каждый в свой срок, они появились на свет, и ещё в роддомах у новорожденных были обнаружены признаки «усталости» не просто отдельных тканей или органов, а всего организма. <...> это вполне медицинский термин. Он означает «изношенность». Эти дети только-только родились, а внутри у них всё уже было в таком состоянии, будто они прожили лет по пятьдесят».

Сознание, правда, оставалось детским. Тем интереснее для наблюдений и экспериментов.

Их отняли у родителей и забрали в специальный детский дом, — чтобы дожили там до своей естественной и скорой смерти. Им ввали, что они вырастут, станут сильными, что болезни пройдут и морщины разгладятся. Уверяли их — чтобы не тосковали, — что никаких родителей вообще не бывает, а людей выращивают в сосудах. К ним приставили заботливых воспитателей, чтобы те прожили с детьми «весь жизненный цикл». Их не мучили учением, всё равно не пригодится, — разрешали играть на компьютере сколько угодно, чем они в основном все и занимались (и вот же — Мира и Эви оказались исключением). Им давали читать только сказки о животных, — чтобы не догадывались о том, что в мире есть другие люди, не сравнивали себя с другими, не завидовали чужому уделу, не мучились стремлением к невозможному. Им не говорили даже о том, что люди умирают. С животными такое, конечно, случается, — но с людьми никогда.

Узнав правду, ошарашенная Мира говорит «безжизненным голосом»: «...Мы даже не знали, что люди тоже умирают. Как вы собирались скрыть это? А, Дрим? Что вы наврали бы, когда первый из нас умер бы?

Он ответил так же ровно:

— Сказали бы, что он в изоляторе. Тяжелая инфекция. Навещать нельзя».

Всё для того, чтобы дети были спокойны и счастливы в прекрасном, удобном, самодостаточном мире. Причем в этом уверен даже наилучший из воспитателей — тот самый Дрим: «А вы думаете, лучше было бы сказать им правду? Они жили надеждой, что вырастут и станут такими же, как мы. Если б мы всё им рассказали, это убило бы их ещё при жизни. Разве не так? Я не чувствую ни малейшей вины за то, что мы поступили так, а не иначе».

Где это было? Да, имена главным героям в свое время придумали несуществующие — чтобы были хоть какие-то имена, но при этом ни к чему бы их не привязывали, не вписывали бы их ни в какие общезначимые координаты: всё равно у них не будет никакой биографии. Но и по именам других участников повествования тоже не догадаться, где это происходит (вероятно, где-то в Европе — но почему бы и не в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке? — у любимого учителя детей англоязычный псевдоним Дрим, у их обретенных за Стеной друзей — вполне англоязычные имена Сол и Бемби; ни единого топонима здесь нет) и когда (явно не ранее второй половины XX века, но ничего более точного). История намеренно вынута из исторических контекстов для придания универсальности. Изолирующим детским домом — как и причиной изоляции — способно стать, в конце концов, что угодно (это, полагает автор, не зависит ни от культуры с её ценностями и условностями, ни даже от политического устройства государства, — достаточно и того, что всегда есть правительство со своими «правительственными программами», готовое заботливо и из наилучших побуждений морочить своим гражданам голову). Не говоря уж о том, что «на Земле хватает людей, которые могут сотворить с ней такое, до чего никакие пришельцы не додумались бы».

Лавряшина ставит интересный мысленный эксперимент, стараясь смоделировать сознание людей, выросших в искусственно и жестко ограниченной реальности, представление о которой, к тому же, основано на заведомо ложных предпосылках. Любопытным образом такое сознание получается на удивление полноценным.

Ни ограниченность опыта, ни иллюзорность основополагающих знаний, убеждает нас автор, не препятствуют тому, чтобы человек тончайше чувствовал природу — даже, как Эви, слышал голоса цветов! — и других людей, чтобы он проживал сложные отношения, дружил, любил и — более того — мыслил, проблематизировал свой опыт и задавался глубокими вопросами. У Лавряшиной получается, что всё это в каком-то смысле доопытное — или способно сформироваться на любом материале.

Некоторые вопросы автор оставляет открытыми, предоставляя юным читателям самим подумать над ними: хороша ли все-таки спасительная ложь? Зачем человеку жизнь, если он точно знает, что она совсем скоро оборвется?

(Тут даже честнейшая Мира, зная, что ей вот-вот предстоит умереть, говорит Дриму, собирающемуся вернуться к своим воспитанникам: «Ты и в самом деле не говори остальным. Я подумала... Зачем им знать? Они ведь немножко дольше проживут, если не узнают. Пусть думают, что вырастут! Им ещё есть чего ждать».)

А вообще-то — если, конечно, поверить автору, — история Эви и Миры способна обнадеживать так, как, пожалуй, не в силах это делать утешительные истории со счастливыми концами.

(Ну, строго говоря, небольшую утешительную иллюзию — чтобы было не совсем уж жестко, — автор в самом конце всё-таки добавляет. После того, как Мира уплывает в смерть, её оставшиеся в живых друзья настаивают на том, что «она вернется»: она же сама так сказала! — хотя никаких указаний на существование в показанном здесь мире реинкарнации, или хотя бы веры в неё, нет. А Мира это взяла от Сола, который

уже в самом конце сказал ей, что «люди возвращаются» и «умрет только тело» — и та немедленно поверила. Видимо, это просто для того, чтобы можно было дышать.)

Конечно, эта история способна помочь растущему человеку хотя бы представить, что возможно не бояться смерти, даже совсем близкой. Это уже много. Но главное, кажется, вот в чем: автор подталкивает своих совсем маленьких читателей к очень взрослому — принадлежащему, может быть, к самой сути взрослого состояния, — пониманию того, что внутри непреодолимых обстоятельств, внутри безнадежности, внутри совсем-совсем небольшого отведенного тебе времени возможно жить не просто осмысленно, но ярко, счастливо и в полный рост; даже в такой ситуации возможны открытия и дерзость, дружба и любовь. Настоящая жизнь, настаивает автор (и тут невольно думается, что она всё-таки преувеличивает, но и в этом её можно понять — это требуется для силы воздействия), возможна и при минимальных ресурсах — когда ты мал, слаб, тотально зависим от едва понятных тебе взрослых, когда из всего огромного мира тебе доступна лишь ничтожно малая часть (...но ведь есть небо, солнце, лес, улитки!..), когда у тебя нет ничего. Даже родителей с семейной памятью (не говоря уже о представлениях о самом существовании мировой истории), даже настоящего человеческого имени.

Степень полноты и подлинности жизни, дает понять автор, зависит почти исключительно от внутреннего усилия, от направления и концентрации внимания. Отчасти, конечно, и от внешнего: Эви и Мира сумели вырваться за пределы искусственной, ложной и лживой реальности, очерченные для них взрослыми, удрать, пренебрегая всеми запретами, в большой мир с его неожиданностями, открытиями и опасностями и — пусть совсем недолго — жить в нем. Но без внутреннего усилия тут явно ничего бы не получилось.

**Марина МАРТОВА. Оранжевое небо. Автофикшн. — М.: Филинь, 2025. — 106 с.**

Третья книга этого обзора тем и сочетается с двумя первыми, что, подобно им, размышляет о переживании автором в детстве неустрашимых, непреодолимых и трудных обстоятельств существования. («Автофикшн» эта книга потому, что рассказанное совпадает с реально пережитым не вполне, однако — как объясняет автор в предисловии, — исключительно в том смысле, что из пережитого отобраны лишь некоторые важные элементы — «ради пущей художественности» ничего не придумано.) При этом Марина Мартова — о нынешнем, взрослом, статусе и роде занятий которой мы не узнаем из книги ничего, — говорит со взрослыми как с равными и вообще не имеет цели ни утешать и поддерживать — по большому счету, она безутешна в своей спокойной (по видимости даже бесстрастной), жесткой честности, — ни способствовать выработке наших защитных механизмов и конструктивных установок. Цели другие: описав «одно довольно особенное детство» как личный опыт, пережитые тогда внутренние процессы и связанные с ними внешние события, особенности своего тогдашнего чувствования и мышления, их — не только для внешних наблюдателей, но и для самого автора — трудности и странности, — оказаться полезной, например, психологам, писателям или просто «тем, кому интересны приметы ушедшего времени». Об этом времени и его приметах здесь тоже говорится много — о тогдашнем быте, чтении, играх, школе и школьном общении (а ещё — о родителях, о семейной истории по отцовской и материнской линиям, начиная со Второй мировой), — даты не названы, но можно понять, что речь идет о шестидесяти-семидесятих годах. Не назван и Город, безымянное имя которого автор иногда пишет с большой буквы, однако ряд несомненных признаков указывает на то, что это

Обнинск, — и да, среда очень своеобразная: парадоксальная, таинственная, связанная со смертоносным оружием и множеством сопутствующих его производству умолчаний. По существу — повседневная, ежедневная, рутинная близость к смерти, требующая особенной внутренней дисциплины:

«...Сам Город начался только после войны. У нас была одна из крупнейших сейсмологических станций — вдали от любых мест, где случаются землетрясения. Была видимая с любой позиции метеовышка и метеорологический институт, откуда ездили в Арктику и Антарктиду. Множество подводников — за сотни километров от любого моря. Странности эти объяснялись просто. В Городе занимались атомным оружием, контролем за его испытаниями, последствиями применения, а также атомными электростанциями разного назначения. Все это в мои времена называлось словами “оборонка” и “Средмаш”. Работавшие там часто имели бронь и даже не служили в армии, а вот свою дозу облучения успели получить многие — от строителей до научных сотрудников. Никто из них, полагаю, не стал бы разбрасываться словами про “ядерную пыль”. Но почему те, кто ещё жив, не задумываясь, готовы взять под козырек при аргументах вроде “там были бы солдаты НАТО”, я тоже понимаю.

Город — не главный герой рассказанной здесь истории. Он — только фон её, — однако несомненно сказавшийся на общем характере происходящего: уже хотя бы некоторыми изначальными, глубинными страхами, которые такая среда формировала: «Лет в двенадцать, — вспоминает автор, — я уже довольно много знала о физике, в том числе ядерной. И заодно, понятное дело, об истории создания ядерного оружия. Это было чем-то вроде навязчивой идеи, кошмарного сна, когда ищешь выход и не находишь. Я не видела момента, в который люди могли бы уйти с этой дороги, всё было логично и неотвратимо».

На общее чувство мира, далекое от плоской самоуверенной рациональности и оставшееся с автором по сей день, влияло уже простое физическое пребывание рядом с «наукой и теми силами, которые она изучала», — с силами, многократно превосходящими человека, с их «могущественной игрой»: у городской жизни неизменно чувствовалась «жутковатая изнанка». «Иногда мне кажется, — признается Мартова, — что, как в каком-нибудь фантастическом кино, мощь, бушевавшая рядом с нами, искажала в городе и вокруг пространство, время и нас самих. По заливному лугу, вдоль кромки нашего леса, шла дорога, по которой я проходила сотни раз. Одна из опушек на краю леса, на которую всего лишь надо было свернуть с дороги, то обнаруживалась и открывалась, а то нет. Говорят, она и до сих пор так чудит. Невыносимый ужас и едва выносимый восторг тех лет до сих пор со мной, в костях и крови».

Родной город сопротивлялся статусу «своего». Много лет спустя автор скажет: «Я очень долго боялась туда приезжать. Я очень долго не хотела его вспоминать». Полный умолчаний, негласных запретов, невысказанных правил, он «упорно выдавливал» маленького — и не слишком форматного — человека, для которого не было «ничего хуже умолчаний». «От взрослых, а ещё больше — от детей, здесь ожидали, что они сами поймут, каким нормам должны соответствовать, и сами себя под них подравнивают. Мне хотелось бы написать, что я с детства в гробу видала эти нормы. Но я вовсе не была так умна и принципиальна и чаще всего про них просто не догоняла». Выдавить было некуда, и город просто глядел на неудобную персону «скучными и настороженными глазами». Взаимного понимания не было.

В этом и состоит основной сюжет книги: в отсутствии понимания, в изначальном и упорном несовпадении между человеком и миром — а этот последний был представлен ближайшим образом Городом, «уютным и аккуратным», в котором «многим было удобно и хорошо». Дело, конечно, было и в собственном душевном

устройстве героини-повествовательницы (о нем-то и речь!), которое она себе не выбирала и не создавала — застала его в себе как данность и долго старалась понять, как с этим жить и что вообще с собой делать. «Мне заранее стыдно и странно, — говорит автор, — рассказывать про девочку, которая почти не замечала людей. Но другой, боюсь, не получится».

Страхи — лишь часть, и, возможно, не такая уж большая, этого несовпадения с миром, затрудненной — вплоть до полной невозможности — коммуникации с ним и его куда более адаптированными обитателями (сны, например, — «такие жуткие, что их невозможно было рассказать даже взрослым»). Другая их часть — внутренний запрет на вопросы о многом, волнующем и пугающем («С раннего детства у меня было неоспоримое чувство, что спрашивать о многих вещах не следует. Сначала потому, что я боялась узнать о жизни что-то совсем-совсем страшное, после чего жить по-прежнему не смогу. Потом — потому, что если ты спрашивала, то объяснение надо было принять целиком, заранее с ним согласиться»), — и вследствие того — жизнь в почти непреходящем, навверное, напряжении. Еще — мучительное непонимание того, как следует себя вести, нечувствование чужих ожиданий и неминуемые, вследствие того, «странные» для окружения поступки... «Мир и вообще-то очень долго представлялся мне чем-то непонятным и запутанным, а всё это усугубляло мой ступор. Иногда я решалась действовать по наитию, получалось бестолково и размашисто, и на всё это глядели чужие скучные глаза. Город был небольшой, и слухи о любой сделанной мной глупости распространялись со скоростью звука. К концу первого класса у меня уже была репутация». И постоянное — или почти — чувство вины, от которой, от которого никак не получалось избавиться: «В начале жизни на мне уже лежала тень вины, которую было тем трудней избежать, что она могла оказаться и невольной».

Конечно, некоторые защитные приемы и практики, делающие жизнь выносимой, были автором в конце концов всё-таки выработаны: от улавливания в Городе «пробелов, прогалов и промежутков», в которых защищающим чувствовалось само пространство: «Кусочки леса. Старые, по меркам Города, кварталы. Даже не пятиэтажки, а двухэтажные дома, деревянные, всего на несколько семей. Карусель в городском парке — половину круга она пролетала над оврагом, над верхушками деревьев, весной и осенью чудно разноцветными», — до занятий живописью в художественной школе. («Художка меня спасла», говорит автор. Кстати, книга проиллюстрирована её детскими рисунками того времени — очень живыми, яркими и точными.) Но и все эти защиты тоже — не ведущая тема книги. Главное — описание общей ткани существования, воссоздание его неустранимо проблематичной фактуры.

Мартова, что особенно к ней располагает, не судит и не осуждает ни тогдашней себя, ни своего окружения того времени, хотя, казалось бы, оснований множество. Она даже не особенно это всё анализирует, а прежде всего восстанавливает с максимально возможной точностью, — хотя точное и честное описание — уже анализ. И, на самом деле, пригодиться это способно не только психологам, писателям и людям, интересующимся бытом и нравами позднесоветских десятилетий, — а может быть, даже и не в первую очередь им. Куда больше пользы — и да, утешения, навверняка совсем не входившего в число авторских задач! — это описание способно принести тем, кто и сам был одиноким диковатым ребенком, полным странностей и нелепостей, и по сей день (изначальное всё-таки не проходит — неважно, насколько это видно внешнему глазу) — живет с почти непреходящим чувством своей неуклюжести, неточности, мучительного непопадания в чужие неведомые ожидания и правила. Читаешь и думаешь: а всё-таки ты такой не один. Ты в каком-то смысле прощён.

Борис Минаев

## Приречная страна

«Приречная страна» — название само по себе замечательное. А тем более если это детский спектакль.

В Приречной стране всего шестеро жителей — и всё-таки это именно страна. На холмах у реки, подобно пещерам в Хоббитании Дж.Р.Толкина, стоят почти игрушечные деревянные домики. В каждом из них совсем немного места: кровать и шкафчик, ну, может, ещё настольная лампа. Простодурсен, булочник Ковригсен, девушка Октава (она, понятное дело, поёт), вечный жалобщик Сдобсен, мечтающий разбогатеть и соответствующий своей фамилии — Пронырсен, ну ещё Каменная куропатка, то ли птица, то ли некий дух этого места — вот, собственно, и всё население.

Но, как мы, конечно, понимаем, страна — это не правительство, не густонаселенные города и минеральные ресурсы, не политика и даже не история.

Страна — это замкнутый, целостный, живой организм, состоящий из людей, то есть из персонажей сказки.

Будь то хоббиты, малыши из «Незнайки», Элли и её друзья, по дороге из жёлтого кирпича пересекающие не то что страну, а целый континент, — вот все они вместе и по отдельности — такая страна. Своя страна.

С детства я мечтал жить в такой стране, чтобы вдохнуть её сладкий воздух, заразиться верой в чудеса, ну и вообще знать, что тут *всё есть*: вот домики, вот деревья, вот леса, вот небо, а там за горой — *другие* страны.

Чего мне тогда хотелось на самом деле? Волшебной замкнутости, целостности, защищенности, отсутствия хаоса и угроз, когда каждый сантиметр — он твой, известный тебе наизусть. Когда все подробности узнаваемы.

Потом наступило отрочество — и книги, ему посвященные. В них главной темой было как раз открытие новых дорог, расставание с этой детской защищенностью: и в каждой главе героев ждали опасности или, как сейчас говорят, новые вызовы. Начиная с «Острова сокровищ» и кончая «Капитаном Сорви-голова» — все они были про это.

Конечно, их я тоже читал, иногда даже с некоторым исступлением, но и с некоторым подозрением. А вдруг что-то не так пойдет? Вдруг очередной поворот не туда — и книга не приведет нас к дому, к *своей стране*?

Новый, премьерный спектакль в театре «Мастерская Петра Фоменко» поставлен по сказочным историям норвежца Белсвика Руне — это большая популярная серия для детей, которую издает «Самокат». «Приречная страна» уже не первая попытка перенести мир Простодурсена на московскую сцену (первая была в театре «Практика»).

Я смотрел спектакль и пытался понять, почему эти книжки так популярны у детей, чем они отличаются от прежних вариантов волшебной страны?

От Носова, Волкова/Баума, Толкина и других писателей XX века? Мы уже довольно основательно переехали в следующий век, что же нового он открывает именно в этой области? Области «детского страноведения» или «страностроения»?

Простодурсен (Владислав Ташбулатов) со своей изумительной походкой и блаженной улыбкой, появляясь на сцене, учит детей играть в «бульк», то есть бросать камешки в реку, наслаждаясь этим простым моментом. Река огибает, обволакивает мир жителей Приречной страны с говорящими фамилиями, она неслышимо и невидимо журчит, и её брызги и волны можно ощутить только в воображении, но именно река-то и является тем, вокруг чего будет происходить действие спектакля.

Вредный Пронырсен (Степан Владимиров) хочет «приватизировать» реку, делает запруды и поворачивает русло, поскольку считает, что река, берущая исток у его домика, — это его река! И в монологах Пронырсена про то, что нужно скорей «изменить время» и «сделать времена новыми» — слышен осязаемый привкус мифологии тех самых «новых времен», главной темы, возможно, всего XX века. То есть это не просто желание разбогатеть, прославиться, стать «кем-то другим» вопреки всем обстоятельствам — это именно попытка изменить ход времени.

Остальные жители Приречной страны к таким изменениям явно не готовы. Для них важнее вечность, которая ощущается во всём, и даже рутина важнее: их любимые привычки, неизменный ход событий — для Ковригсена (Борис Яновский) — это утренний запах булочек, для Октавы (Елизавета Бойко) — желание петь и слагать вирши по любому поводу и без повода, для Сдобсена (Вениамин Краснянский) — мечта о «загранице», которая не дает ему покоя.

Наконец, для Каменной куропатки (Елена Ворончихина) — сам ход сказки, её плавное течение.

И здесь, в этом столкновении, автор книг о Пронырсене Белсвик Руне (и его переводчик на русский Ольга Дробот), режиссёр Полина Айрапетова — как-то очень ненавязчиво вводят юных зрителей в круг главных конфликтов современности. Причем, что очень важно, тут нет чёрно-белой картины, как в старых сказках — про положительных и отрицательных героев, про хорошее и плохое. Добро борется со злом не потому, что оно априори право, а потому что оно более естественно, что ли. Органично. Ну и — как ни странно — потому, что его поддерживает большинство.

Пронырсен ведь не просто плут и жадюга, повернувший русло реки с помощью запруды в чисто корыстных целях — нет, у него есть мечта, план, идея, и главное, вот это неумное желание «изменить время» (довольно близкое, например, моей формации, моему поколению). Тут поневоле задумаешься: неужели мы были такими?

Всё правильно, но можно ли его менять, этот ход времени, за счёт других и вопреки их желанию? Жители Приречной страны на *собрании* (которое изначально кажется Простодурсену чем-то страшным и нелепым, просто по звучанию слова) решают, что реку они не отдадут.

Река — общая.

И как-то против этого «экологического социализма» трудно возражать, река-то действительно общая.

И никакая «борьба за ресурсы», и никакие «экономические реформы», и никакой ускорившийся ход времени не могут помешать этому изначально-правильному ощущению.

...И всё же главное событие и одновременно главное испытание ожидает жителей Приречной страны вовсе не на экологическо-социальном поприще.

Найденное Простодурсеном на земле утиное яйцо, тщательно высиженное Каменной куропаткой на кровати в его комнате и превратившееся в обаятельного Утёнка, — вот это событие. Оно буквально сметает сладостное ощущение привычного и рутинного, за которое они все так держатся.

Рождение нового существа «взрывает мозги» и Простодурсену, и всем остальным.

Утёнок (Екатерина Новокрещенова) — самый обаятельный персонаж этого спектакля. Удивительная улыбка, удивительные глаза, удивительная пластика вроде бы внешне взрослого человека, но при этом младенца. Точнее сыграть только что родившееся существо было бы просто невозможно.

И вот из наивного и дурашливого рассказа, из детской сказки выплывает новая — и большая — философская проблема. Проблема всего современного мира. Ибо утка, оставшаяся в плену у Пронырсена, она мама. Но мама бесправная, вернее, лишенная прав. И высидела не она. И вообще её тут «почти нет» (спасать утку придется в самом конце). И потом она всё равно улетит.

Так что Утёнок — он, конечно, дитя этой самой утки, но появился-то он на свет в домике Простодурсена, и родителями ему стали буквально все жители Приречной страны.

Он — важнее всех привычек, отношений, иерархий. Он родился вот в такой вот неидеальной и непривычной семье. Где папа и мама в одном лице и где все его любят.

Рождение ребёнка и защита новой жизни оказываются важнее реки. И важнее привычного уклада. И важнее границы. И важнее творчества.

Важнее всего.

...И опять-таки, — премудрость, о которой, я уверен, задумается любой взрослый, глядя на всё это дуракаваляние из зрительного зала, для ребёнка не выглядит ни нотацией, ни проповедью, ни даже драматичным сюжетом. Это просто история, рассказанная весело и наивно.

Безыскусно и лаконично.

Возможно, в моем изложении сюжет спектакля выглядит чересчур «проблемно» — тут и про защиту прав человека, и про демократию, и про экологию, и про новую семью, да и автор, что уж там говорить, целиком принадлежит к современной европейской культуре. На самом же деле веселая и нежная сказка. Безо всяких восклицательных знаков. Что делает театру честь.

От актёров хотелось бы, конечно, чуть меньшего нажима, ведь в книжке истории Простодурсена рассказаны так, что каждое слово — словно «бульк» в реке — звучит как-то очень отдельно. И очень неторопливо. Между словами у Белсвика Руны всегда имеются ощутимые пробелы, то есть паузы. Паузы эти не всегда можно расслышать, а жаль.

Отдельно хочу сказать о художнике спектакля Марии Мелешко. Странное ощущение — под этими приклеенными облаками, на этих круглых холмах с нарисованными цветочками хочется жить взаправду. Хотя жилплощадь там не очень большая, а всё равно.

Потому что это отдельная другая страна.

...Захотелось ли мне вернуться — туда, где когда-то в детстве строились целые миры из подушек, веток, стульев и других подручных материалов?

Где жили мои плюшевые звери и где я придумывал своих героев, смешивая их с героями сказок?

Готов ли я снова поверить в то, что вот такая Приречная страна в принципе возможна — со своим Простодурсеном и Каменной куропаткой, замкнутая, целостная и прекрасная?

Где все они живут в одном бесконечном прекрасном летнем дне?

Да, готов.

Но главное желание, которое возникает после спектакля, — это желание защитить их всех. Защитить Приречную страну.

От всех сложностей современной цивилизации, от конфликтов и потрясений, девальваций и кризисов.

Да, я знаю, это невозможно.

Но хочется, чтобы Приречная страна всё-таки существовала. Чтобы дети в неё верили.

Чтобы они в ней всё-таки жили.

---

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

Бумажную версию журнала «Дружба народов»  
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**  
**<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>**

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте  
**<http://дружбанародов.com>**

Журнал продаётся в магазине **«Фаланстер»**  
Москва, ул. Тверская, 17  
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Главный редактор: Надеев С.А.

Вёрстка: Елена Жирнова. Корректурa: Елена Лапшина.

Дизайн обложки: Степан Лукьянов.

Учредитель и издатель — АНО Редакция журнала «Дружба народов».

Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Гвоздева, д. 7/4, стр. 1, кв. 88.

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2, оф. 110.

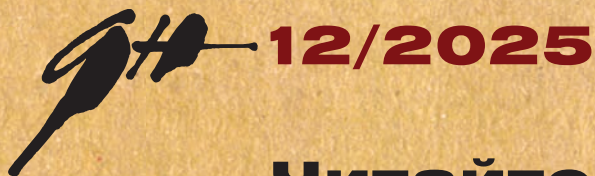
Электронная почта: [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru). Телефон редакции (499) 5190212.

Сайт журнала: [дружбанародов.com](http://дружбанародов.com)

Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
Эл № ФС77-51026 от 03.10.1912.

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





## Читайте:

**Арсений Гончуков. 2022. Роман**

*Настя открыла ключом студию, где над дверью горела лампочка «Не входить! Идёт эфир!», и пошла прямо на Таню. Таня заметно вздрогнула, крутанула на неё испуганные глаза и снова вперилась в телесуфлёр — прямой эфир всё-таки, новости.*

*В кадре, который транслировался на всю Московскую область, было видно, как в студии появляется фигура в тёмной куртке, огибает стол телеведущей, подходит к сияющему светодиодному заднику-экрану, мешкает секунду с сумкой — и тут только сонный оператор за камерой что-то соображает, оглядывается, машет рукой: «Эй, что происходит?!» — а Настя берёт баллончик краски и размашисто, отчётливо пишет — во весь задник и во весь кадр в прямом эфире — страшное, катастрофическое, недопустимое — за что дают реальные сроки по статье «Экстремизм». Ярко-красные буквы зияют над белой головкой перепуганной Танечки. Ни слова не говоря, Настя выходит из кадра. В дверь влетает разъярённый Ренат, за ним выпускающий редактор, а на выдаче, услышав крики, как будто специально помедлив, дают заставку... Ренат бьёт Настю — без размаха лепит ей пощёчину, оператор хватает её за руку, Настя вырывается, визжит перепуганная Таня, в студию вбегают режиссёр и ассистент, и в этой суматохе, бардаке, истерике — Насте удаётся выскользнуть из студии, спокойно спуститься на лифте, сесть в машину и уехать...*